



**КАМЕННОЕ
ЗЕРКАЛО**

**АЛТАРЬ
ВРЕМЕНИ**

Оксана Ветловская

АЛТАРЬ
ВРЕМЕНИ



Москва
2022

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В39

Иллюстрации на обложке, форзаце и в тексте
Оксаны Ветловской

Ветловская, Оксана.
В39 Алтарь времени / Оксана Ветловская. — Москва :
Эксмо, 2022. — 576 с. : ил.

ISBN 978-5-04-164578-6

Альрих фон Штернберг — учёный со сверхъестественными способностями, проникший в тайны Времени. Теперь он — государственный преступник. Шантажом его привлекают к работе над оружием тотального уничтожения. Для него лишь два пути: либо сдаться и погибнуть — либо противостоять чудовищу, созданному его же гением. Дана, бывшая заключённая, бежала из Германии. Ей нужно вернуться ради спасения того, кто когда-то уберёт её от гибели. Когда-то они были врагами. Теперь их любовь изменит ход истории.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-164578-6

© Ветловская О., текст, 2022
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Людам, до которых мне хоть сколько-нибудь есть дело... я желаю, чтобы им не остались неизвестны глубокое презрение к себе, муки неверия в себя, горечь и пустота преодолённого; я им нисколько не сочувствую, потому что желаю им единственного, что на сегодня способно доказать, имеет человек цену или не имеет: в силах ли он выстоять...

Фридрих Ницше

Пролог **В КАМНЕ**

I. БЕРЛИН

8–9 декабря 1944 года

Казнь, судя по всему, предстояла на рассвете.

До того как распахнулась дверь, кое-что уже предвещало, что всё близится к концу. Медленно оживало сознание: это означало, что инъекции отменили.

Как часто их делали — два раза в сутки, три? Смертник осознавал лишь то, что краткое ощущение холодной иглы в вене приходило регулярно. Особенно неукоснительно соблюдали регулярность после одного случая, когда медик то ли из-за воздушной тревоги, то ли по какой другой причине время очередной инъекции пропустил. Немногом позже врач вспомнил о своей обязанности и в сопровождении унтер-офицера зашёл в камеру — но из камеры вместо медика появился заключённый, за которым, будто на привязи, сомнамбулически шествовал унтер. Правда, далеко смертник не ушёл. Несколько солдат сбили его с ног и принялись лупить прикладами, не столько в ярости, сколько в страхе, и избивали до тех пор, пока узник не потерял сознание — и в это же самое мгновение безучастно стоявший рядом унтер-офицер будто очнулся от сна.

С того дня уколы смертнику ставили даже в разгар авианалётов, когда глухие удары где-то там, наверху, казалось, порождали ответные удары из недр земли. На ру-

ки и на ноги наложили прикованную к стене длинную цепь. Участились ночные проверки. Узника, впрочем, это не волновало. Ненадолго выныривая из тяжкого забытья, он думал лишь о том, как удержать в непослушных руках ложку или кружку с водой или как проделать пару шагов от кровати до прикрытой деревянной крышкой дыры возле обшарпанного умывальника. Ещё беспокоился, не поломали ли ему рёбра, когда били за ту безнадёжную попытку выбраться из тюремного подвала. Физической боли он давно не чувствовал: кололи ему, очевидно, смесь морфина со снотворным. Возможно, подмешивали что-то ещё. В нечастые периоды прояснения сознания он молился, чтобы проклятое зелье не убило его прежде, чем он сумеет отсюда выбраться.

В то, что ему удастся выбраться живым, смертник продолжал верить даже тогда, когда конвоиры вывели его из камеры: оставались ещё последние глотки надежды, последний шанс.

Но прежде была тихая ночь, что накрыла всё его существо, словно прохладная ладонь, лёгшая на разгорячённый лоб больного. Первая ночь, когда отступили тёмные волны болезненной, давящей дремоты. Раньше свинцовые валы захлёстывали узника с головой, он из последних сил сопротивлялся, таращась в низкий потолок — остроты зрения не хватало на то, чтобы разглядеть сеть трещин в штукатурке, — потом вся плоскость потолка ухала вниз, и узник захлёбывался очередным кошмаром или просто тонул в пустом мертвенном сне. Выплывавая обратно, в мир ненадёжной, тошнотворно-текучей вещественности, он слышал шаги рядом, чувствовал, как его руку расправляют, поворачивают локтевым сгибом кверху, ощущал холод смоченного в спирту клочка ваты и чужеродность металлического проникновения под кожу, слышал:

— Спи.

И едва державшееся на плаву сознание вновь шло ко дну. Однако, пока новая порция зелья расходилась по жилам, смертник успевал осознать, насколько же его личный Морфей боится своего пациента. Боялась узника и охрана. Они все испытывали страх перед ним — по рукам и ногам

скованным цепью, в наркотическом бреду пускающим слюни на продавленный матрас. Они знали, что смертник мог их *слышать* — через стены и перекрытия, через многие метры душной подвальной тишины, через железную дверь камеры — он, ещё не успевший провалиться в трясику отравленного сна, способен был разобрать не то что каждое слово, произнесённое хоть шёпотом, нет, куда больше: малейшее движение чужой мысли.

Прочих заключённых водили по утрам в комнату для умывания, где они могли побриться, — смертника без крайней необходимости не выводили никуда. На дверь навесили пару дополнительных тяжёлых засовов, едва выяснилось, что узник умеет открывать замки одним лишь усилием мысли. Но для того требовалось сосредоточиться, что было уже не под силу утонувшему в дурмане разуму.

Нынешней ночью дурман рассеялся. Мало-помалу все чувства оживали, и память по кускам извлекала себя из небытия.

Темнота запредельной концентрации клубилась вокруг. Узник провёл ладонью по матрасу, почувствовал под пальцами холод железных прутьев: спинка койки. За дрожащей от слабости рукой тянулись звенья тяжёлой цепи. И вот тут память распахнулась первым осознанным воспоминанием: он уже видел такую койку и такие цепи — не слишком далеко отсюда, примерно в девяносто километрах на север, в одном из многочисленных концлагерей «тысячелетнего рейха» он видел в точности такую же картину, как та, которую являл собой теперь.

Запорошённая земля сливалась там со снежным январским небом. Лишь бараки темнели. Ровные ряды низких длинных бараков служили единственным ориентиром в белой мгле.

Служебное задание, очередная командировка — он и вообразить не мог, что она окажется командировкой в ад.

Он видел «жилые» бараки, наполненные разновозрастными женщинами, медленно погибавшими от голода и болезней, видел медицинские лаборатории, где заключённым изощрённо помогали умирать, и видел тамошний морг. Собственно, морг там был везде — порой тела лежали штабелями прямо на улице, и снег сыпал

в оледеневшие мёртвые лица. Женский концлагерь Равенсбрюк — так называлось то место.

Он-то в те времена был отнюдь не заключённым. Он, молодой карьерист, приехал в концлагерь расследовать одно дело. И носил щеголеватый офицерский мундир. Почти такой же, как у тамошних офицеров охраны. Специалист по незримому, он выяснял обстоятельства загадочной гибели надзирателей и допрашивал узников. Вот комната для допросов в штрафблоке, вот широкая железная столешница, а по ту её сторону — только что приведённое из карцера существо, едва похожее на человека. Бритоголовое, хрупко-тощее, в каких-то коростах — оживший мертвец с картин Брейгеля-старшего. Главный подозреваемый... подозреваемая. Девушка, с убийственной ненавистью смотревшая на немецкого офицера напротив.

Он уже понял: это она убивала надзирателей. Без оружия, даже не притрагиваясь к ним — но убивала.

Он долго думал, прежде чем принять решение.

— Я знаю о ваших способностях. И хочу предложить вам сотрудничество. Вы покинете концлагерь, если будете работать в той организации, которую я представляю. Вы согласны?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я вас ненавижу.

Удивительным казалось, как это одичавшее существо ещё не позабыло человеческую речь. Но позже оно уже не говорило, даже не шевелилось: пластом лежало в камере-одиночке, прикованное толстой цепью к койке, что тихо дрейфовала в сторону небытия, которое стало бы для этой узницы — как и для тысяч других, наступивших той же участью, — единственным выходом из заключения. Если бы он тогда не забрал её с собой из лагеря, несмотря на её отказ сотрудничать. Вместе с несколькими десятками других, теми, кому повезло несравнимо больше прочих.

Он никогда этого не забудет.

Баракы, истощённых жёниц на нарах, камер, коек, цепей. Чужой боли. Собственноручно составленных спи-

сков — перечня людей, от которых остались лишь обтянутые кожей кости да номера вместо имён. Изнурённого, презрительного и полного ненависти взгляда той заключённой. Железная койка и тяжёлые цепи...

Цепи, которые теперь были и на его руках. В поразительной симметрии явственно просматривался почерк высшего возмездия — узник горько усмехнулся этой мысли.

В кошмарах ему, бывало, чудилось, как он плутает в недрах вырубленного в скале лабиринта, а где-то, в самой глубине, беспрерывно долбят и крошат камень, и этот гулкий звук отдаётся в самой сердцевине костей. Ещё ему мерещилось, что за пределами его камеры ничего нет, кроме бесконечной скалы, и он, скорчившийся на своей койке, обречён на вечное пребывание в мёртвой каменной утробе, где густая тьма — как давно остывшие околплодные воды.

...Теперь вместо лагерных бараков за снежной сетью темнели высокие каменные конструкции. Вертикально поставленные гранитные плиты в несколько метров высотой. Три ряда мегалитов окружали заснеженную площадь, к центру которой пролегла одинокая цепочка следов.

Он стоял посередине площади, перед запорошённым каменным возвышением вроде алтаря.

Он, учёный с офицерским званием, был отнюдь не историком — и потому его нисколько не занимали замшелые тайны археологических памятников. Но его завораживала та геометрическая выверенность, что легко читалась в каждой линии этих отполированных камней. Послание из прошлого, запечатлённое в граните; оно несло в себе нечто несравнимо более важное, нежели вульгарные кровавые тайны канувших в прошлое культов. Чистая, как лёд, но ещё непостижимая рациональность, осязаемая, но пока непонятная логика. Именно это его и покорило.

Он уже прочёл всё, что только сумел найти, — все книги, статьи, записанные местными энтузиастами легенды, где хотя бы вскользь упоминалось это место.

И когда он стоял там, среди древних камней, слушая торжественную снежную тишину, разрозненные фраг-

менты доисторического послания, наконец, сложились в его сознании.

Это оказалась готовая научная теория. И ещё — готовый проект. Оружие. Ведь его родине так требовалось чудо-оружие.

Но всё это было позже.

А тогда он просто мельком взглянул на часы и увидел, что стрелки остановились — как остановил своё движение и снег вокруг, мерно падавший ещё мгновением раньше...

Неумолимо подступающие воспоминания, словно прибой, рокотали на горизонте сознания. За многие дни, а то и недели пребывания между сумерками полуосознанности и глубокой тьмой полной бессознательности узник успел отвыкнуть от своей памяти — этого цепкого, непрестанно царапающегося, ненасытного чудовища. Слишком много всего сразу. Слишком резкие, яркие картины. В том числе и такие, которые он рад был бы вовсе забыть: слишком острое чувство вины они теперь вызывали.

...Он неторопливо шагал мимо шеренги новобранцев и всматривался в лица солдат. Этим семнадцатилетним мальчишкам предстояло пройти своего рода вступительные испытания — те, кто покажет себя достойно, должны будут составить его спецотряд. Он старался избавиться себя от мыслей о том, что эти парни могут погибнуть — и, скорее всего, погибнут в ближайшее время — но отнюдь не в бою.

Невысокий пепельноволосый парень ближе к краю строя покосился на него с неприязненным недоверием, будто предчувствовал что-то. Узник тогда лишь усмехнулся: он знал, что очень скоро наглец будет смотреть на него по-другому — если пройдёт отбор.

Прошло совсем немного времени, и солдаты уже взирали на него, как на бога. В том числе и тот, сероволосый. А он смотрел на них как на устройство одноразового применения, нечто вроде живого аккумулятора. Это был его источник жизненной силы, его «доноры», его резерв — чтобы не погибнуть самому среди древних каменных экранов и дополнивших их новых стальных отражателей на деревянных каркасах.

И те мальчишки погибли за него. Почти все. Правда, случилось это раньше, чем они успели выполнить миссию, для которой он их готовил. Когда эхо выстрелов внезапно взломало древнюю гранитную тишину...

Руки его произвольно дёрнулись, исхудалые пальцы сжались. Бряцнула цепь. Да, у него тогда не было выбора. Но любая фронтовая мясорубка — участь куда менее определённая, чем та, что неминуемо ждала его парней: на фронте есть хотя бы призрачный шанс выжить.

Узник напряжённо смотрел во тьму. Вслушивался в смутную боль, зарождавшуюся под черепным сводом. Сколько он уже здесь?.. Так ли это важно. Он должен выйти отсюда. Выйти живым. У него есть обязательство — не перед собой, нет, — жить.

...Хотя ещё не так давно он думал, что не найдёт в себе сил жить после того, что совершил.

Пламя костра было таким высоким, что, чудилось, от него зарделись рассветные небеса. И было это пламя таким опаляющим, что душа тогда вспыхнула, будто хворост, и теперь от неё остались лишь тлеющие угли. Узник сжёг тогда всё — отражатели, чертежи. Собственными руками уничтожил будущее. Своё будущее и будущее своей родины.

Два года работы, два года надежды. Его не остановило даже скептическое отношение верхов к его исследованиям — и к его изобретению, подобного которому ещё никогда не использовали в войне. Не остановили даже — в конце концов — недоверие самого фюрера и приказ отменить операцию. Он велел своим подчинённым убивать всякого, кто осмелится препятствовать. И те убивали. Он сам едва не погиб в перестрелке. Не раздумывая, пошёл против приказа главы государства, и всё же...

И всё же — изобретение, которое могло бы принести его родине победу, сгорело в пламени большого костра.

Ведь стоило ему сомкнуть глаза, как он вновь оказывался в пепельно-снежной пустыне концлагеря и видел, что люди способны сделать с другими людьми во имя будущего. Истощённая и избитая полумёртвая заключённая на грязном тюремном матрасе — и ведь их таких

были тысячи — с такой ценой за будущее своей родины он смириться не сумел.

Он сам решил уничтожить то, с помощью чего намеревался помочь своей родине выиграть войну.

Он сам сделал выбор. И никакие приказы не имели значения...

Как, по большому счёту, не имело значения и то, что его теперь всё равно осудят — за неповиновение и за то, что его подчинённые убивали тех, кто пришёл остановить его.

Лишь одно было существенно — он должен был жить. Несмотря ни на что.

...Заключённая — та самая, из концлагерного штрафблока. Теперь её было не узнать: миниатюрная девушка с отросшими тёмно-русыми волосами, с лицом чистой, тонкой, как лепестки нимфеи, прозрачной белизны. На сей раз она сидела не за грубым железным столом в комнате для допросов, а за дубовым лакированным, в начальственном кабинете, уставленном книжными шкапами. Нынешний узник снова сидел напротив, писал очередной отчёт. Порой поднимал на неё глаза — и каждый раз встречал ответный взгляд. Взгляд без тени прежней ненависти. Солнечный взгляд. Если бы только не его чёрный офицерский мундир — и не её тёмно-синяя униформа бывшей лагерницы, курсантки из закрытого полутюремного заведения...

Отныне именно о ней он думал в первую очередь, когда размышлял об участии заключённых концлагерей. Вспоминал, что мог бы и не успеть её спасти.

Отныне он всегда о ней думал.

О ней же думал и тогда, когда сжѐг в костре будущее. Не её будущее, нет. Своѐ собственное. Ради таких, как она. Ради неё.

Тем временем уже давала о себе знать цена пробуждения. Растущее невнятное беспокойство узник поначалу и не думал связывать с тем, что его отлучили от зелья. Не жажда, не голод и не удушье — но нечто сродное всему этому: гнетѐт, и тянет, и словно выедаёт изнутри. Он ворочался на койке, будто порывистые движения могли принести облегчение. Пытался отвлечься на что-нибудь — но

предутренняя тишина приносила лишь обрывки тяжёлых сновидений тех, кто был заключён по соседству. Если бы он большую часть времени не пребывал в сонном оцепенении от наркотиков, то целыми днями чувствовал бы их боль, бесплодную ярость, страх — и страха здесь было куда больше, чем всего прочего. Порой казалось, что страх должен был оседать повсюду в этом здании, липко-серым конденсатом на кабинетных и подвальных стенах.

Лампа под потолком внезапно разразилась полоумным светом, на мгновение ослепив. После непродолжительного лязга отворилась дверь. Узника поставили на колени и освободили от оков под бдительным надзором двух узких автоматных рыл — лица солдат он разглядеть не мог, зато покачивающиеся перед глазами автоматные дула видел отчётливо, и эти штуки исключали любую глупость с его стороны.

Потом его повели вверх по лестнице, подталкивая стволами автоматов в спину, а он спотыкался на высоких ступенях, едва не теряя стоптанные, без шнурков, ботинки с чужой ноги, громко шлёпавшие при каждом шаге и всё норовившие соскользнуть с его длинных, узких голых ступней. Спадавшим опоркам вполне соответствовали лишившиеся пуговиц галифе, которые приходилось кое-как поддерживать связанными за спиной руками (на замки наручников охрана больше не полагалась). Пуговицы со штанов срезали ещё перед первым допросом — обычный здесь способ унижить арестантов. Прочую одежду смертника составляла лишь грязная рубаха.

По коридору первого этажа гулял ледяной сквозняк, и такой же сквозняк навывлет продувал душу. Узник знал, куда и зачем его ведут. Он *слышал* намерения конвоиров, а ступени под ногами помнили покорный ужас тех, кого по этой лестнице выводили на расстрел. В том числе и тех, кого осудили по его делу. Сумеет ли он хоть что-то сделать? Эта нестерпимая слабость в теле — от голодного пайка, от наркотиков? Или от страха?

Были среди его предков те, кто окончил свои дни на плахе. Память о них обязывала выпрямить спину (насколько позволяли связанные за спиной руки и сползающие штаны) и надменно вскинуть подбородок. В конце концов,

со стороны тюремщиков это было по-своему честно: позволить ему в последние минуты жизни пребывать в ясном сознании. Умереть с достоинством. Ведь могли бы просто-напросто впрыснуть в вену смертельную дозу зелья.

Его привели в кабинет, по размерам мало отличавшийся от камеры. Обвинитель, едва посмотрев на смертника, уткнулся в бумаги. Они все тут считали опасным встречаться с ним взглядом, как будто он был помесью человека с василиском. Хотя внешность узника — удлинённое сухое сложение, рост под самую притолоку и чересчур, пожалуй, широкий рот на узком лице — и впрямь словно бы намекала на не совсем человеческую природу.

В соседнем помещении без конца надрывался телефон. Окно было наглухо забито фанерой и напоминало повязку на выколоте глазу.

Узник переступил с ноги на ногу: у него начинала кружиться голова. Только этого не хватало. Собрать всю силу, всю злость, всё отчаяние. Остался последний — смехотворно ничтожный — шанс. В здании их слишком много. Но когда его выведут во двор... Хотя что тогда? Что?

От нескончаемой телефонной истерики уже сверлило в висках. Чиновник не спешил: сонно перебирал бумаги, и казалось, всё это будет длиться до окончания времён. С трудом различимые сквозь дымку близорукости очертания комнаты и сгорбившегося за столом человека зыбко плыли куда-то. Узник из последних сил заставлял себя стоять прямо и глядеть надменно.

Ну же.

Где, наконец, этот чёртов приговор: *«Именем фюрера...»*

II. ТЮРИНГЕНСКИЙ ЛЕС, ОКРЕСТНОСТИ РАБЕНХОРСТА

6 декабря 1944 года, утро

— Вы что, в самом деле, сговорились? Вы предстанете перед военным судом! Оба!

Те, кому предназначены эти слова, невозмутимо курят и смотрят в разные стороны. Первый, инженер — пря-



мой и неуклюжий, как шпала, в угловатом пальто, словно склёпанном из кровельного железа, — стряхивает с сигареты пепел заскорузлым пальцем и делает вид, что его ровным счётом ничего не касается. Второй — щеголеватый офицер с холёными усами и завитками на висках, эдакий румяный гусар с картинки, стоит вполоборота, с такой миной, будто он здесь по досадной случайности и проездом.

— Объект следовало сдать ещё неделю назад! Что у вас тут творится? Прошло десять дней, и хоть бы что-нибудь сдвинулось с места!

Наискось мощёной площади тянутся снежные валы, над гребнями которых, смахивая ледяную пыль, со свистящим шорохом проносится позёмка. Площадь окружена тремя рядами вросших в землю, одетых по низу снежными заносами каменных плит, похожих не то на надгробья великанов, не то на гигантские, в несколько метров высотой, изваяния акульих плавников. Генерал смотрит по сторонам, но не видит ни площади, ни мегалитов, ни недостроенного сооружения, посреди древнего капища нацелившего в рваное небо копыя арматуры, — видит только остановившийся, испорченный механизм. Механизм, где движущая сила — приказы, а детали — люди, машины, обстоятельства. Генерал — специалист по такого рода механизмам. И пусть его считают рвачом, хватающимся за всё подряд и подгребаящим под себя все должности, до которых только достаёт сил дотянуться. Он способен поддерживать такие механизмы в рабочем состоянии, в отличие от многих.

— Ну, что на сей раз? Опять кого-то бродячие собаки покусали?

— Волки, — поправляет инженер. — Это были волки, а не собаки, группенфюрер¹.

— Волки-убийцы. — Когда генерал улыбается, от крыльев его крупного носа к углам рта прочерчиваются острые складки, а полная нижняя губа оттопыривается

¹ Группенфюрер — звание высшего офицерского состава в СС — вооружённых элитных формированиях нацистской партии Германии. Соответствовало званию генерал-лейтенанта.

вниз. — А вам известно, что последнего волка в Тюрингенском лесу пристрелили в середине прошлого века?

— Об этом стоило бы рассказать погибшим, группенфюрер, — тускло-стальным тоном отвечает инженер.

— К вам приставлена целая рота солдат.

— Да. Четверо уже сошли с ума. Слышат голоса и всё такое прочее. Остальные мечтают о Восточном фронте. Даже там, по их словам, безопаснее, чем здесь.

Генерал решает оставить пока инженера в покое и обращается к самодовольному щёголю с налётом чего-то антикварного в облике:

— Ну а вы, Валленштайн, это ведь вы специалист по всякой чертовщине! Почему у вас тут волки да какие-то, видите ли, голоса? Почему не ликвидировали?

— Виноват, группенфюрер. — «Гусар» бросает сигарету под ноги и, по-видимому, пытается придумать что-нибудь ещё, более содержательное. Генерал подбавляет желчи в голос:

— Вот что тут скажешь о цене всего вашего отдела, если даже его начальник...

— Заместитель начальника, — сухо поправляет «гусар».

— Какая разница!

— Я не специалист по этим штукам. Я вас предупреждал.

— Да есть ли вообще хоть какие-нибудь специалисты в вашем шаманском отделе?

— В отделе оккультных наук.

— Да какая разница! Ваше дело — чертей гонять, так гоняйте! И вот что я вам скажу, Валленштайн: сдаётся мне, у всей вашей чертовщины есть вполне заурядное объяснение. Очень простое — саботаж!

— Это не «чертовщина», группенфюрер. Здесь нет ничего сверхъестественного. Тут действуют какие-то неизвестные нам законы. Я не специалист... Людей преследуют галлюцинации. А что их убивает... Не могу сказать. Вам лучше спросить у человека, который действительно в этом разбирается. Обратитесь к моему начальнику. К Альриху фон Штернбергу.

— Хорошо. Я удвою охрану. Обо всех подозрительных случаях докладывать мне немедленно. А теперь объясните, почему *сейчас* остановились работы.

— Виноват, группенфюрер, но объяснить мы ничего не сможем, — странно ровно произносит «гусар», а инженер с едва уловимым злорадством скрипит:

— Зато мы можем всё вам показать.

И генерал понимает, что его собеседники не просто ожидали, а мрачно предвкушали этот момент. Сейчас они с целой глыбой выразительного молчания в качестве довеска торжественно преподнесут ему нечто такое, созерцание чего, как они надеются, заставит его без промедления запретить любые работы на объекте «Зонненштайн» на долгие, если не вечные, времена.

Генерал идёт к центру площади, туда, где возвышаются бетонные опоры. Он смотрит по сторонам — низина, ровно округлая, как чаша, строгие мегалиты, огромная скала за сильно обмелевшей, промёрзшей до дна рекой. Когда-то здесь, в излучине реки, была большая запруда, а мегалиты покоились на дне, в глине, песке и иле — лишь вершины самых высоких камней сглажены водой, всё остальное, расчищенное археологами, сохранилось во всё своём отстранённом гранитном совершенстве безукоризненной полировки, сложных кривых, идеальных углов. Будто комплекс захоронили нарочно. На тысячелетия законсервированный объект. Безумная теория, но почему бы нет?

В практической бесполезности любой старинной постройки историкам всегда мерещится сакральное значение. Вот потому это древнее сооружение называют капищем: оно завораживающе-бессмысленно с точки зрения обыкновенной человеческой логики, но так же бессмысленна математическая формула для того, кто не сведущ в точных науках. Правильно выведенная формула всегда красива. А так называемое капище Зонненштайн, с его поверхностным впечатлением бесполезности, красиво дьявольски — изысканно-сложная формула, записанная в камне. Генерал уже вполне ясно представляет, какие задачи можно решать с её помощью. Но сперва надо дополнить формулу кое-чем. Тем, что придаст ей абсолютную универсальность.

Посреди площади, внутри кольца бетонных столбов, в окружении вывернутых гранитных плит распахнула

тёмный зев глубокая яма. Ещё недавно на её месте находилось нечто вроде постамента или жертвенника — огромный, глубоко уходящий в землю гранитный блок. И какой оглушительный вой поднялся в местном археологическом обществе, какой поток жалоб хлынул в Берлин, когда этот камень пришлось извлекать по частям! Впрочем, археологи несколько притихли, когда под блоком обнаружилась довольно обширная гранитная камера (вполне подходящая для размещения оборудования; но прежде генерал позволил спуститься туда археологам, которые всё равно не нашли там ничего более интригующего, чем сам факт наличия загадочной пустой камеры под многотонным блоком). Сейчас вокруг ямы не видно ни единого человека — рабочие отогнали всю строительную технику за пределы капища, а сами будто вымерли. Из прямоугольного провала вязко льётся подземная, утробная, извечная тишина. Эти вывороченные каменные рёбра по сторонам, это тёмное зияние посередине — словно вскрытая грудная клетка.

Генерал подходит к краю ямы, оступаясь на гранитных осколках и комьях смёрзшейся земли. Вниз он не смотрит, хотя распахнутое каменное нутро так и притягивает взгляд. Кажется, позволишь себе посмотреть — а потом против воли сделаешь шаг вперёд, и ещё шаг, и ещё... Скорее бы закрыли чем-нибудь эту дыру.

— Так почему остановились работы?

Инженер и офицер-щёголь тоже избегают смотреть в яму, тем не менее инженер указывает именно на неё:

— Вот, взгляните.

Генерал ожидает чего угодно — крови на стенах, груды изувеченных тел — и потому в первые мгновения тщетно всматривается в сумрак внизу, не понимая, что ему, собственно, показывают. На дне вскрытой камеры ничего нет... почти ничего. Похоже, будто человек утонул в цементе. Наружу торчит колено, часть голени в сером сукне, рука — можно разглядеть часы на запястье, — а цемент уже давно застыл.

Вот только там нет ни капли цемента. Камера вырезана в скальном массиве, пол и стены её — отшлифованный в незапамятные времена гранит.

Часть I

НА ПРИВЯЗИ



АЛЬРИХ. ПОСЛЕ ЖИЗНИ

БЕРЛИН

9 декабря 1944 года, утро

Штернберг пошатнулся, с трудом удержался на ногах. Служащий за столом выдернул из растрёпанной стопки какую-то бумагу и вдруг уставился на него с живым интересом. Без умолку трещащий телефон за стеной наконец заткнулся. Сквозь слабость и дурноту Штернберг почувствовал то, что должен был ощутить с самого начала: от чиновника не несло смертью. От стоящих по бокам солдат — да. От сидящего за столом — нет.

— Сейчас вы получите свои вещи. Распишитесь вот здесь, — очень буднично сказал чиновник. — Во дворе вас ждёт машина.

Мироздание, сжавшееся до нескольких десятков шагов — от порога этого кабинета до стены бункера во дворе, от тени последней надежды до краткого приказа офицера и залпа расстрельной команды, — вдруг раздалось до бесконечности, придавив и оглушив.

«Вы получите свои вещи».

Конвоиры, уверенные, что ведут заключённого на расстрел, были удивлены гораздо больше. Сам Штернберг не испытал ничего, кроме внезапного необоримого желания сесть там же, где стоял, прямо на пол. Разумеется, он себе этого не позволил — сделал вид, что воспринимает всё происходящее как должное. Очень старался, чтобы руки не тряслись. До него едва доходил смысл того, что требовалось подписать. Что-то о досрочном освобождении. Бросилась в глаза дата; значит, больше месяца прошло с тех пор, как... Господи, больше месяца.

Чиновник принял от него бумагу, где изломанная, вздыбившаяся вертикальными линиями подпись стояла среди мелких печатных букв как осаждённая крепость в окружении вражеских полчищ. Поднял взгляд:

— Помните этот день, господин фон Штернберг. Видать, кто-то очень крепко молится за вас.

Быть может, так оно и было. Наверняка. Многие выходили из подвалов гестапо — если выходили — в куда более плачевном состоянии. В полутёмной, пропитанной склизкими запахами комнате Штернбергу вернули его вещи, изъятые при аресте, и позволили побриться в кафельном закутке — там в его распоряжении оказались тронутые ржавчиной ножницы и станок с гадостным тупым лезвием и ноздреватыми окаменелостями из засохшей мыльной пены. Бритва почти не брала волоса и только мучила и кровянила кожу. Казалось, заключение должно было если не вытравить, то оглушить врождённую гипертрофированную брезгливость, но на деле только истерзало и разбередило её — как эта чёртова бритва скребла кожу до кровавой росы. Чужая щетина в бесхозном станке, прошедшем через множество рук, задубевшая от пота и крови рубаха, штаны в засохшей блевотине после того допроса с применением *тонких технологий*, как их понимали в гестапо, — всё это было остро-оскорбительно, невообразимо, несносно. И ещё запах зверья.

Вообще-то ему определённо очень повезло. Зубы на месте, нос не сломан. Почки не отбиты, половые органы целы. Пальцы не изувечены, ногти не выдернуты. Правда, в один из первых дней заключения ему уродливо обкорнали машинкой для стрижки его роскошную золотистую шевелюру — главным образом для того, чтобы унизить, — и он стал похож на узника концлагеря. Подозрение на перелом или трещину ребра — слишком навязчиво болит правый бок; любому встречному Штернберг поставил бы диагноз с ходу, едва взглянув, но себя он *не видел*. И ещё рубцы на спине — в самом начале, по прибытии, после ареста в Рабенхорсте, здешние труженики, ещё не понимая, с кем связались, повели его, раненого и истекающего кровью, в камеру на четыре стола, с жаровнями и тазами, в которых мокли кожаные плётки, а пятое «посадочное место», как шутили специалисты своего дела, находилось у стены — верёвки, продетые через кольца в потолке, и вот на этих-то верёвках его растянули, невзирая на вполне однозначные предупреждения, и даже

успели пару раз хлестнуть с оттяжкой, прежде чем в той камере вспыхнуло всё, что могло гореть, включая энтузиаста с плёткой. Пирокинез дался Штернбергу тяжело: он потерял сознание и сам едва не задохнулся в дыму затейного им пожара. И вот тогда ему в вену впрыснули какой-то одурманивающей дряни и избили в первый раз. Точно, неспешно, вдумчиво и так, что он потом от боли едва мог вдохнуть. Били даже не столько за пожар — просто чтобы указать ему его место. Напомнить: он теперь никто и ничто. А ещё с вечера того же дня ему начали колоть наркотики и снотворное.

Да, вот что самое отвратительное — его с месяц накачивали наркотиками, каждый день. И теперь тело требовало зелья, и страшно было подумать, что начнётся через сутки, через двое.

Рана, с которой его доставили в тюрьму гестапо, невзирая на всё, зажила — бинты ему меняли регулярно и вообще не упорствовали в намерении изуверчить. Вероятнее всего, таково было указание сверху, и потому с допроса Штернберг ковылял на своих ногах, в то время как из соседнего кабинета выволакивали сплошной стусок боли, за которым тянулся вонючий след. Даже здесь, в гестапо, Штернберг пользовался некоторыми, с позволения сказать, привилегиями, и палачам запрещалось практиковать на нём утончённые приёмы вроде засовывания горящих тряпок между пальцами ног, опиления зубов или прижигания мошонки паяльной лампой. Его не торопились списать на свалку: мог ещё пригодиться. Мог понадобиться — и, видимо, понадобился срочно. Альрих фон Штернберг, глава отдела тайных наук в научно-исследовательском обществе «Аненербе» — «Наследии предков». Оберштурмбаннфюрер¹ СС в свои двадцать четыре с половиной года. Выскочка и наглец для сослуживцев. Выродок для семьи. Сенситив от Бога. Предатель; хотя нет, этот ярлык на него здесь не сумели навесить при всех стараниях, он последовательно гнул свою линию, даже когда у него язык заплетался от той отравы, что струилась в его

¹ Оберштурмбаннфюрер — звание старшего офицерского состава в СС, соответствовало званию подполковника.

крови, а грубоматериальный и Тонкий мир смешивались в его воспалённом восприятии в бурлящее варево. Он же в конце концов выполнил приказ фюрера? Выполнил... Отменил операцию «Зонненштайн», как от него и требовали. Но де-факто — предатель. Со всех сторон предатель...

Он перебирал свои вещи так, как перебирают вещи давным-давно умершего незнакомца. Чёрный китель с Железным крестом и лентой Креста за военные заслуги, которыми когда-то его наградили — нет, не его... *Оберштурмбаннфюрера*. Шинель, ещё хранившая слабый запах сажи от костра, в котором оберштурмбаннфюрер сжёг своё будущее. «Парабеллум» — сейчас разряженный, — из которого оберштурмбаннфюрер застрелился. Оберштурмбаннфюрер так долго вытаптывал в себе человека, так планомерно и методично его уничтожал — но эсэсовец мёртв, похоронен у подножия камней Зонненштайна, и кто теперь дрожащими руками морфиниста натягивает на себя его одежду?

Подтяжки, ремень, портуся — всё спутано в клубок мятой, заскорузлой чёрной кожи. Среди его вещей не нашлось ни золотых наручных часов, ни перстней с драгоценными камнями, которые с таким небрежным шиком и легчайшим налётом вульгарности любил носить оберштурмбаннфюрер. Ничего удивительного: мертвецов обворовывают. Осталось эсэсовское серебряное кольцо — но у предателя эсэсовский перстень отобрали бы в первую очередь, так что Штернберг понял намёк: *как бы там ни было, но ты нам нужен, парень, ты по-прежнему один из нас*. Сохранился и амулет — золотой круг-солнце с лучами-молниями на золотой же цепи — эту штуку просто побоялись брать, решили, видно, что в ней заключена какая-нибудь «чёрная магия», хотя амулет был всего-навсего пижонской безделушкой.

В кармане кителя обнаружили очки. Те самые, в которых он в последний раз смотрел на скалу Зонненштайна. После ему целый месяц приходилось довольствоваться расплывчатой эрзац-картиной мира — очки гестаповцы у него отобрали ещё на первом допросе.

И вот теперь резкость всего окружающего ударила по глазам — нелепым глазам, для которых близорукость

стала ещё не самой большой бедой. Глаза у Штернберга были разного цвета: левый голубой, а правый зелёный впрожелть — и, главное, правый сильно косил. Косящего глаза словно бы нет, мозг воспринимает лишь то, что видит здоровый глаз, чтобы изображение не двоилось, — и потому Штернберг никогда не знал в полной мере, что значит протяжённость, глубина, объём, ему сложнее было определять расстояние до предметов. Косоглазие у него было всегда, сколько он себя помнил. Особенно досадный порок при громадном росте, сухой поджарости сильного широкоплечего тела и отточенной многими поколениями аристократической тонкости черт. Брак, грубая ошибка природы; ущербные — отбросы нации, таких не принимают в СС. Но ради него в своё время сделали исключение.

С шершавым жжением по подбородку и у кадыка, с нездоровой, приступами накатывающей зевотой, Штернберг выбрался из крашенных тёмной масляной краской гестаповских катакомб во двор здания на Принц-Альбрехтштрассе. Охранники отконвоировали его до самых дверей серого «Мерседеса» со служебными номерами. Сыпал снег. На тёмной стене бункера во дворе Штернберг прочёл многочисленные смерти и торопливо отвёл взгляд. Если бы его сейчас вывели на расстрел под охраной десятка человек, он, трясущийся от слабости, ничего не сумел бы сделать, как ни тешил себя мыслью, что смог бы сразить их всех энергетическим ударом или превратить в живые факелы.

Но в машине всего двое. Куда его повезут? Не важно. Надо бежать. Здесь ничего уже нет, здесь всё прах, ещё пока сохраняющий видимость людей и зданий. Весь этот город — приговорённый к смерти в ожидании расстрела, как, впрочем, и вся Германия. Останься Штернберг тогда один у Зонненштайна — давно бы лежал в земле Тюрингенского леса, где-нибудь под старой сосной, под тёплым ковром из опавшей хвои, уложенный кем-нибудь из местных крестьян в наспех вырытую могилу для безымянного самоубийцы, и это был бы непозволительно спокойный конец для того, кто предал свою родину.

От окончательного ничто его тогда отделяло лишь мгновение. Он лежал на спине, в снегу, и чувствовал нё-

бом холод мушки своего «парабеллума». Но прежде чем успел вдавить большим пальцем спусковой крючок, пистолет вырвали у него из рук. Только ствол клацнул по передним зубам. А когда он открыл зажмуренные глаза, то увидел над собой последнего из своих солдат. Хайнц — так звали того парня. И что-то такое этот парень сказал...

«Каждого человека хоть кто-нибудь да ждёт».

Есть причина, по которой ему нельзя умирать.

Штернберг сощурился, поправил очки. Двое в машине. Если он сосредоточится, то, возможно, на каком-нибудь перекрёстке, когда они остановятся, на несколько минут сумеет лишиться сознания обоих и успеет скрыться в лабиринте развалин.

Расталкивая коленями полы незастёгнутой шинели, чувствуя, что от него разит псиной, Штернберг забрался на заднее сиденье. Там его ждал некто в штатском: смуглый, совсем небольшой, остроплечий, со странной головой обтекаемой формы, напоминавшей голову насекомого (и смазанные бриолином волосы блестели как хитиновый панцирь, усугубляя впечатление), с худыми и словно бы сверх меры многосуставчатыми руками, резво выступившими нечто вроде морзянки на крышке плоского портфеля. Насекомый тип обратил на Штернберга тёмные, навывкате, глаза. Сенситив. Не самый сильный, но достаточно натасканный для того, чтобы быть непроницаемым для телепатов вроде Штернберга.

— Шрамм. Купер.

Штернберг не сразу понял, что эти слова вовсе не часть какого-то неведомого ему пароля, а так зовут набриолиненного и того, кто сидит за рулём. Водитель, белокурый викинг с плакатов, прославляющих нордическое здоровье, покосился на Штернберга через зеркало заднего вида и заодно продемонстрировал отражение своей грушевидной физиономии, лишённой малейшей тени какого-либо выражения. В отличие от чернявого, сознание этого экземпляра — Купера — неплохо читалось. Невзирая на довольно кретинский вид, дураком он, к сожалению, не был. А вот бриолиновый недомерок — Штернберг нутром чуял — был к тому же ещё и опасен.

— С сегодняшнего дня господам из гестапо угодно сопровождать меня во всех поездках?

— Думаю, в этом не будет необходимости. — Тип по фамилии Шрамм вежливо улыбнулся, показав жёлтые, но идеально ровные зубы. — У меня к вам есть дело. Точнее, два дела. Первое: господин Мюллер — вы ведь хорошо знакомы с господином Мюллером? — поручил мне передать вам кое-что. — Шрамм полез в портфель.

О да, с некоторых пор Штернберг был даже слишком хорошо знаком с господином Мюллером. С группенфюрером СС и генерал-лейтенантом полиции Генрихом Мюллером, «Мюллером-гестапо». Мюллер был его следователем. Мюллер всякий раз допрашивал его лично, и эти допросы — Штернберг явственно ощущал — стали для начальника тайной полиции своего рода спортивным вызовом и ревностно оберегаемой от чужих посягательств страстью. Мюллер приказывал колоть ему, помимо прочей дряни, какую-то «сыворотку», от которой подследственного должно было пробить на правду. Штернбергу эта отравка путала сознание, и он плохо помнил, что нёс под воздействием препарата, но в одном мог поклясться: у него хватило самообладания не признать себя виновным в том, что ему навязывали. Однако Штернберг чувствовал: Мюллер сумел выловить в его бреде кое-что другое, весьма для себя полезное; что именно — скорее всего, ещё предстояло узнать, и при одной мысли об этом в подрёберье растекался тошнотный холод.

Шрамм достал из портфеля тетрадь в жёсткой чёрной обложке под тиснёную кожу: с виду — небольшая книга, около сотни крепких листов. Штернбергу показалось, будто время прорвалось брешью в прошлое. Воздействие наркотиков? Он всё ещё бредит? Этого предмета просто не могло существовать. Штернберг сам сжёг эту тетрадь, он отлично помнил, как бросил её в камин за день до операции «Зонненштайн»... Углы тетради и впрямь были немного обуглены. Штернберг уставился на полосатый жёлто-чёрный галстук набриолиненного и вдруг понял, на кого так похож этот смутный гестаповец: на шершня.

— Сувенир, — пояснил Шрамм. — От господина Мюллера.

Первым делом Штернберг принялся вспоминать, есть ли в этой тетради — в его тайном дневнике, который был уничтожен, но каким-то образом выплыл из небытия, — что-то, способное его скомпрометировать. Как последний идиот. Именно такого мучительного замешательства от него и ждали: чернявый был явно доволен его ошарашенным видом. Действительно, в записках заключалось много такого, что запросто могло обернуться против него, однако самое уязвимое и драгоценное Штернберг не доверил даже дневнику. А Мюллеру, значит, дневник больше не нужен; не случилось ли так, что куда более интересные вещи он услышал от самого Штернберга, доведённого до полубессознательного состояния наркотиками, побоями и различными «сыворотками»?

Но, ради всего святого, откуда они взяли эту тетрадь?!

— Выходит, Мюллер счёл мои записи недостаточно занимательными? — холодно поинтересовался Штернберг.

— Напротив, он надеется, что этот предмет послужит вам напоминанием. Гестапо хоть из-под земли достанет что угодно и кого угодно, господин фон Штернберг. Следствие по вашему делу возобновят после окончания войны — в том случае, если вы не справитесь с вашей задачей. Господин Мюллер желает, чтобы вы всегда помнили об этом и работали хорошо.

Штернберг криво усмехнулся: ничего оригинального, следовало ожидать.

— И что вменяется мне в задачу?

— Об этом вы узнаете не от меня. Моя роль совсем скромная: передать вам кое-какие вещи. И предупредить.

Несмотря на некоторую полировку, в мягком стелющемся произношении Шрамма, в его манере глотать окончания оставалось слишком много баварского. В точности как у Мюллера. Едва ли это было случайностью: Штернбергу когда-то доводилось слышать, что шеф гестапо перетащил в столицу своих старых знакомых из мюнхенской полиции. Штернберг сам вырос в Мюнхене, однако баварский диалект так и остался для него чужим: язык перешёл к нему в наследство от предков, прибалтийских баронов, — очень книжный, с пристрастием к сложным предложениям и с жёсткой артикуляцией, словно бы

застывший в янтаре, что порой блестит на солнце в клочьях водорослей, выброшенных штормом на балтийский берег.

— Вы уже предупредили, вполне доходчиво, — желчно сказал Штернберг. «Бежать. И пусть попробуют достанут». — А теперь давайте сюда эту штуку.

Шрамм вручил ему тетрадь. Штернберг взял её левой рукой, на мгновение прикрыл глаза, ловя в сознании смутные тени прошлых событий, отпечатавшихся на злосчастном дневнике. Призрачное кино задом наперёд. Мюллер, опять Мюллер, какой-то обыск, деревня... Униформа погибшего ординарца Штернберга, которую гестаповцы буквально вывернули наизнанку. Тетрадь в кармане. Шрамм, разумеется знакомый с психометрией, глядел с насмешливым пониманием: ожидал, что Штернберг первым делом кинется *читать* предмет.

— Что, собственно, вам ещё от меня надо? — с тяжёлой досадой спросил Штернберг.

— Я понимаю, судьба ваших записок вам сейчас интереснее, — сказал Шрамм. — Но вы лучше поглядите в окно. Внимательно.

За окном вот уже несколько минут мелькали полузнакомые улицы вперемишку с развалинами. В Берлине Штернберг бывал редко и знал его неважно, а бомбёжки и вовсе превратили город в сновидение наяву, в грань между обычной, понятной жизнью и потусторонним, страшным миром, в нечто, что выглядело бы декорацией, не будь оно таким до дрожи настоящим.

Вывернутая наизнанку обыденность. Дома с разрушенными фасадами впустили метель в своё нутро: у иных перекрытия провалились и остались только ободранные, разбитые стены, другие напоминали архитектурный чертёж — аккуратный разрез здания с комнатами, в которых как ни в чём не бывало стояла мебель, даже кое-где висели картины или фотографии. Гостиная на втором этаже, где диван с разноцветными подушками, замёрзший фикус и старый рояль соседствовали с дымным провалом, на дне которого, в грудe балок, ещё что-то тлело. Спальня с супружеской кроватью, до которой теперь можно было добраться разве что по пожарной лестнице. Поверх

ощетинившихся битым кирпичом стен, в проёмах обрушившихся эркеров над грудями горелого хлама висели полотнища с жирно выведенными лозунгами: «Победа будет нашей!», «Работать, сражаться, верить!», «Фюрер, мы следуем за тобой!», «Любой ценой — победа!». Нередко подобные бравурные банальности писались прямо на стенах. Иногда дополнялись государственными знамёнами, сюрреалистически смотревшимися посреди развалин: алые полосы на пепельно-сером, пристальный глаз-свастика, гипнотически глядевший из руин. Всё это казалось Штернбергу даже не фарсом — умопомешательством, над которым шли своим чередом будни берлинцев — странные, бредовые будни. «Мы все живы. Ирма», — кратко сообщала каждому прохожему меловая надпись на стене чьего-то разрушенного жилища, но адресована она была, скорее всего, одному-единственному человеку — мужу или брату, приехавшему на побывку с фронта. Таких посланий попадалось много, гораздо больше, чем лозунгов или официальных объявлений. Берлинцы превратили развалины в своего рода почту. Полуразрушенные стены обратились в летопись жизни — недожизни, полужизни, агонии.

— Гляжу. Внимательно. Всё вижу. Пытаетесь достучаться до моего патриотизма? — Слова давались Штернбергу трудно, будто он пытался жевать щёбёнку, и голос получался скрежещущий.

— Сейчас вы скажете, что орган под названием «патриотизм» вам отбили в гестапо, — спокойно сказал Шрамм. — Ну, скажите. Вам же очень хочется это сказать.

— Ошибаетесь, — отрезал Штернберг. — Вы кто угодно, но не телепат. Так что вам надо? — раздражённо повторил он.

— Пока ничего. — Чрезмерно выпуклые глаза чернявого, казалось, едва заметно светились изнутри, словно на бархатно-илистое дно ленивой реки с тёмной болотной водой упал тусклый фонарь. — Вы человек неординарных талантов, господин фон Штернберг. При этом вы, *условно говоря*, вышли из заключения. Ваш моральный дух сильно ослаб. Вам требуется достойный стимул для успешной работы. Отчего-то мне кажется, что одним долгом патри-

ота вам уже не обойтись. И предупреждение господина Мюллера явно не произвело на вас особого впечатления. Вот на такой случай у меня есть для вас ещё кое-что... Взгляните. — Шрамм достал из портфеля фотокарточку.

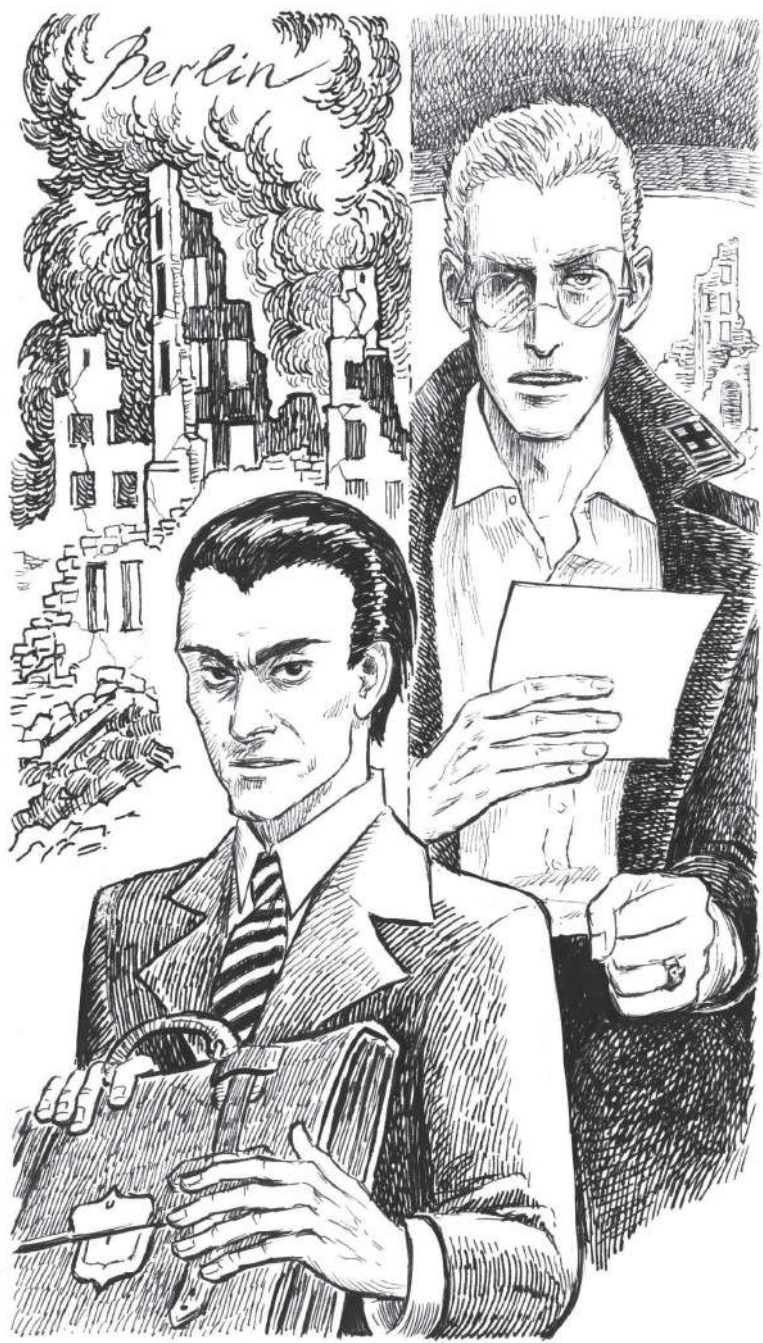
«Я точно брежу», — в каком-то отупелом ужасе подумал Штернберг. Ведь не могло же такого случиться, именно сейчас, когда он совершенно бессилён!

Фотография была из последних, уже швейцарских. Его близкие вообще очень редко фотографировались и почти никогда не фотографировались все вместе, а этот снимок был сделан по случаю годовщины свадьбы барона и баронессы, всегда, сколько Штернберг помнил, с изморозью брезгливого недоумения игнорировавших любые государственные праздники, натянуто-официально справлявших Рождество, за полтора десятилетия бедности превративших дни рождения своих детей в простое арифметическое действие, но каждый год вспоминая эту дату — день бракосочетания. На фотографии — нужно было как следует приглядеться, чтобы заметить, — отец и мать держались за руки, и льнувшее переплетение их пальцев, неразделимое, словно переплетение корней или ветвей, было гораздо выразительнее по обыкновению бесстрастных лиц.

Отец, мать, сестра, племянница. Все сидят рядом, и поэтому не бросается в глаза, что отец в инвалидном кресле. Штернбергу очень нравилась эта фотография, но её не было среди его вещей. Ни в мюнхенской квартире, ни в вайшенфельдской. Такую карточку можно было найти только в особняке в Вальденбурге, в Швейцарии, где его родные жили последние три года благодаря ему, его исключительному положению и его деньгам. Родня эсэсовца, уехавшая за границу, — случай неслыханный; «отцу требуется особое лечение» — этого надуманного и явно недостаточного повода хватило рейхсфюреру¹ СС Гимmlеру, благоволившему к молодому оккультисту, а до мнения остальных бонз Штернбергу не было дела.

— Ваша семья, не так ли? — Шрамм снова улыбнулся, показывая жёлтые жвала.

¹ Рейхсфюрер — высшее звание и должность в СС.



Штернберг чувствовал, как каждый нерв дрожит от неслышного звона: в солнечном сплетении будто играли на ксилофоне.

— Ваши родные настоящие патриоты, — продолжал Шрамм. — В такое трудное для рейха время они решили добровольно вернуться на родину. Похвально. Мужественно.

Штернберг смотрел в окно. Автомобиль тем временем миновал мост Вайдендаммер — его высокие резные фонтаны, с наверху острыми, как рапиры, по одному выплывали из снежной пелены.

Если у этого шершня есть такая фотография — значит, он или другие, сродные, членистоногие были в Вальденбурге. *Они там были.*

Господи!

— Что вы сделали с моими близкими? — глухо прозвучало будто где-то рядом со Штернбергом спустя неопределённо долгое время.

— Да ничего, говорю же вам. Они возвращаются в рейх, по собственному желанию. Будут в полной безопасности. Во всяком случае, их безопасность целиком зависит от вас.

— Где они?

— Где поселились? Я не знаю, — Шрамм развёл руками. — Он тоже, — добавил чернявый, поймав взгляд Штернберга, впившийся в шофёра. — Я вам дам совет: просто — работайте. И всё будет в порядке. Вы сами прекрасно понимаете.

Снег сыпал густо, как на рождественской открытке. Примерно год тому назад Штернберг сидел за канцелярским столом в одной из клетушек барака, в котором размещался политический отдел концлагеря Равенсбрюк, и набирал заключённых для обучения в экспериментальной школе «Цет», организованной оккультным отделом «Аненербе». Проще всего было с узниками, попадавшими в лагерь вместе со своими семьями. Таких Штернберг без особых затей шантажировал — работа на рейх в обмен на свободу близких. Элементарно и абсолютно безотказно. Абсолютно.

— Куда вы меня везёте? — мёртвым голосом спросил Штернберг.

— В отель. Там вы приведёте себя в порядок. Затем поедете на Пюклерштрассе. Там у вас состоится важная встреча, — Шрамм бесцеремонно прочерчивал ему будущее в пустоте. — Кстати, после полудня этот автомобиль будет в вашем распоряжении, а Купер — ваш шофёр.

— У меня есть свой шофёр, и я им вполне доволен.

— Вы хотите сказать, был шофёр. Дело в том, что он... м-м... несколько выведен из строя. Его допрашивали по вашему делу. Немного перестарались.

— Ублюдки. Тогда к чёрту шофёра, обойдусь.

— Но вы сейчас не в состоянии вести машину! Между прочим, мы на месте. Одежду вам доставят в номер. Портъё предупредили. Чтобы получить ключ, просто назовитесь. Здесь поблизости есть хорошее бомбоубежище, если что. Томми¹ в последнее время изрядно обленились, ну да кто их знает, вдруг прилетят...

Автомобиль остановился. Штернберг повернул к бриолиновому коротышке будто налитую жидким свинцом голову:

— Слушайте меня, Шрамм. Слушайте и запоминайте. Если с кем-нибудь из моих близких что-то случится — вы будете первым, с кого я спущу шкуру. Медленно и со вкусом. В ваших подземельях я научился многим занимательным вещам. Вы пожалеете, что в своё время акушер не оторвал вам голову щипцами. Запомнили?

Гестаповец невозмутимо покопался в портфеле и вытащил небольшую парусиновую аптечку.

— Запомнили? — Штернберг, не выдержав, схватил его за хрупкое, не по-мужски гладкое, словно обработанное политурой смуглое запястье. Больно схватил — коротышка скривился и подался назад.

— Когда я спрашиваю, надо отвечать, — с ненавистью сказал Штернберг и по тому, как недомерок произвольно выставил энергетический блок, понял, что наконец-то его испугались.

— Отпустите! — Шрамм завертелся на месте, точь-в-точь насекомое с придавленной лапой. — Ведите себя прилично. Я, конечно, понимаю, что вам не терпится за-

¹ «Томми» («Tommys») — так немцы называли англичан.

получить очередную дозу морфия, только не ломайте мне кости.

— Идите к дьяволу с вашей дозой. Запахните её себе в глотку. — Штернберг разжал пальцы и рывком распахнул дверь. В глаза ему бросились фигуры с автоматами возле отеля. — Передайте Мюллеру, что скрываться я не собираюсь, только избавьте меня от вашей чёртовой охраны!

Штернберг выбрался из автомобиля и очутился в густо налитом снегом пространстве, где воздух, казалось, быстрее тёк в лёгкие и целительным холодом обливал непокрытую голову.

— А аптечка? — приглушённо заужжал Шрамм. — Не стоит пренебрегать, по крайней мере на первое время вам хватит, а достать в нынешние времена, сами понимаете, непросто...

Нырнув в душный салон (и попутно треснувшись затылком, тело по-прежнему слушалось плохо), Штернберг выдернул у гестаповца аптечку. Пригодится: может, там найдётся что-нибудь от головной боли.

— Помните, что я вам сказал, — нёсся ему вслед голос Шрамма, постепенно тонувший в снежном шорохе. — Воздержитесь от необдуманных поступков, в противном случае вам останется винить только себя...

Штернберг ушёл не оборачиваясь. Поднялся на крыльцо, зашёл в холл, взял ключи у человека за стойкой. Придя в номер, первым делом истерзал тюбик с остатками зубной пасты, а потом принял душ — и долго стоял, не шевелясь, обмирая под тугой горячей струёй. Воду теперь давали с перебоями, но ему повезло. Затем обстриг обломанные ногти на руках и на ногах. Оделся в то, что ещё до его прихода принесли в номер. Бельё — и комплект эсэсовского обмундирования, что же ещё. Оказалось не совсем по размеру, но сносно. Он повязал галстук, удивляясь ловкости пальцев, не имевшей никакого отношения к омертвевшему сознанию, тёмному и тихому, как руины древнего города, веками погребённого под землёй.

...Что значит — *«решили добровольно вернуться на родину»*? Все силы небесные, что это значит? Как их заставили, что с ними сделали? Сами они никогда и ни за что не вернулись бы в рейх; «государство торжествую-

щей черни» — вот как они это называли. Подобные слова постоянно звучали в их мюнхенском доме, и одному Богу ведомо, чем бы всё закончилось, если б Штернберг не предложил свой редчайший дар чёрной гвардии фюрера — СС. В начале сорокового года он, тогда студент философского факультета, пришёл домой поздно, благоухающий выпивкой и скрипучей кожей, в великолепно подогнанном мундире; ожидал чего угодно, но только не спокойного ледяного ожесточения, окатившего его с ног до головы. Усмешка сестры, осуждающее молчание матери. За всех высказался отец: «Убирайся туда, откуда пришёл. Ты теперь для меня никто, я не желаю тебя знать». Больше отец не сказал ему ни слова, ни разу. Просто перестал его замечать. Более того, перестал о нём думать.

Потом Штернберг долго считал, что в свои двадцать, двадцать два, двадцать четыре года с разгромным счётом обыграл отца на поле жизни. Да, отец не умел жить; единственное, в чём преуспел, вернувшись с Великой войны¹ четверть века тому назад, — пополнил своё небольшое семейство, дал жизнь сыну. Не добился никаких постов, постыдно и нелепо погряз в долгах, сдался под напором болезни. Не завёл ни полезных знакомств, ни друзей — он вообще был нелюдим, — даже врагов не нашёл, если не считать озлобленных кредиторов да трусливых гестаповских доносчиков, но зато так гордился своими неслышимыми принципами. Штернберг, лихо шагавший вверх по высоким ступеням должностей и званий, Штернберг, чей роскошный чёрный «Майбах»-лимузин стоил больше того, на что отец содержал свою семью в течение нескольких лет, даже не стеснялся признаться себе, что обеспечил близким отъезд в Швейцарию не только ради того, чтобы уберечь их от лап гестапо, но и потому, что своими неосторожными высказываниями они запросто могли переломить хребет его стремительной карьере. В сущности, они давно стали для него чужими — за исключением маленькой племянницы, редко его видевшей, но любившей с трогательной преданностью, не по-детски стойкой

¹ Первая мировая война вошла в историю Европы под названием «Великая война».

ко всему тому, что ей про него наговаривали те, кто его не понял, отверг... предал. Они умели вычёркивать, это у них получалось отменно. Почему же он так боится за них — за всех, без исключения?

Не было сил. Штернберг опустил в кресло и не двинулся даже тогда, когда сирены где-то на окраинах затянули тоскливый вой — сначала слабо и разрозненно, но вскоре их поддержали те, что находились ближе, и вот уже взвыл весь город. Как теперь выдержать обречённые взгляды берлинцев?

«Вот какое будущее ты избрал. Для себя и для Германии».

Голова раскалывалась. Штернберг вспомнил, что у него помимо дневника и пистолета без патронов есть аптечка. Открыл: ни пилюль, ни бинтов, лишь округлый блеск ампул да шприц в футляре. Сквозь прозрачное содержимое ампул проглядывал искажённый фрагмент мелкой надписи: «Morphium hydrochl». Так вот что за лекарство выдал проклятый коротышка. Первой мыслью Штернберга было вышвырнуть аптечку в окно. Но за окном город стenal — и рвал душу в клочья. Вопреки отчаянному усилию воли — *«Стой, будь ты проклят, что же ты делаешь?!»* — руки жадно схватили шприц и надели иглу. Штернберг даже поймал себя на том, что следит за ними с отстранённым интересом. Руки обломили конец ампулы и набрали в шприц раствор; однопроцентный, жидковато, пожалуй, будет после месяца ударных доз. Вот, оказывается, как это выглядит — морфинизм. Закатать рукав, выпустить из шприца воздух. Кожа на локтевом сгибе была тошнотворно-тонкая, прозрачно-голубоватая, в следах недавних уколов — очень небрежных, с кровоподтёками. Скривившись, Штернберг ослабил галстук, расстегнул рубашку и нацелил иглу в плечо.

Через минуту-другую вой сирен отодвинулся, превратившись в незначительный фон для обновлённых, чётких, гранёных мыслей — как если бы сознание надело очки. Призрачные тёплые ладони бродили по спине и шее, пряный холодок растекался по внутренностям. Сразу проснулось желание действовать — и Штернберг выдернул из старой рубашки нить и смастерил сидерический

маятник, привязав к нити серебряный перстень. На некоторые вопросы он прямо сейчас должен был получить ответ, чтобы не спятить от неизвестности. Если, конечно, наркотики не вывихнули ему чутьё напрочь.

Сел за стол, облокотившись, чтобы не тряслись руки. Кольцо висело на нити, чуть поворачиваясь. Итак...

«Мои близкие в безопасности?» — мысленно спросил он. Маятник начал раскачиваться — вперёд-назад. «Да».

Штернберг выдохнул, рука дрогнула, и нить заплесала во все стороны. Подождал, пока маятник прекратит движение.

«Они в рейхе?» — «Да».

«В Берлине, в окрестностях?» Вправо-влево. «Нет».

«В Баварии?» — «Да».

«В Мюнхене?» — «Нет».

Надо было задать ещё один вопрос — тот, что никак не давался даже в мыслях.

Шемящий июльский вечер, весь в полосах рыжего предзакатного солнца. Паспорт в его руках — билет в новую жизнь, но не для него: печать с швейцарским гербом, фотография большеглазой девушки. Её новый паспорт, за который Штернберг был готов отмерять ведро собственной крови.

«Дана...»

Маятник ходил во все стороны, выписывал спирали и восьмёрки, и невозможно было его унять.

«Она в Швейцарии?» — «Нет».

Задрожали руки.

«Она в рейхе?»

«Да». Да!

Она жива, она в опасности? Да, да, да — или это дрожь рук передаётся тонкой нити? Штернберг сжал кольцо в кулаке. Заставил себя успокоиться.

«Она в опасности?»

На сей раз маятник не ответил ничего определённого, но слабое покачивание скорее смахивало на «нет».

Пол содрогнулся от далёких ударов: бомбардировщики прибыли выполнять свою будничную работу — перемалывать Берлин в горы битого кирпича и камня. Штернберг неотрывно смотрел на перстень в ладони, но

не видел ничего. Он-то надеялся, что соседнее государство послужит надёжным сейфом, куда можно спрятать всё самое ценное. Вот и её он постарался спрятать там же — свою совесть, свою боль, свою счастливую ошибку и единственную надежду, которую не погребли обломки тех пустотелых колоссов, что когда-то представлялись ему высшей целью и нерушимым долгом. Её звали Дана Заленская, и была она узницей концлагеря Равенсбрюк, а потом по прихоти Штернберга — точнее, *оберштурмбаннфюрера* — курсанткой в эсэсовской школе для сенситивов, ведь она оказалась дьявольски талантлива, эта дикая девчонка, к тому же со своей звериной ненавистью к немцам она могла послужить «идеальным материалом» для опытов по корректировке человеческого сознания. И злость в её глазах постепенно таяла. Живая игрушка, прирученный зверёныш — до поры до времени она его просто забавляла. Но однажды Штернберг понял, что откорректировал сознание вовсе не ей, а себе, потому что раньше он, телепат, заочно проживал тысячи чужих жизней, брезгливо пролистывал их, не интересуясь толком ни одной, и вдруг понял, что не может существовать без этой, единственной. Сколько стоит жизнь заключённой № 110877? Для рейха — несколько марок, для Штернберга — много больше, чем собственная жизнь. Глупость с его стороны? Возможно. Но вот всё, всё теперь — развалины и тлен, а это — как сияющий шпиль, единственный ориентир на пустом горизонте.

Да, он сам виноват. Нельзя было давать Дане адрес своих близких. Следовало просто отпустить, просто переправить за границу...

Или дело вовсе не в адресе?

Штернберг решил выяснить это с помощью маятника, но не сейчас, позже. Чувство опасности оглохло и ослепло, но бомбы тем временем вываливали уже совсем близко, все прочие звуки насквозь просверлил острый металлический свист, от взрыва лопнуло оконное стекло, что-то упало и с дребезгом покатилося в ванной комнате. Хотя бы спуститься в подвал — однако, прежде чем выскочить в коридор, Штернберг завернул в ванную: забыл амулет. Не то чтобы ему так была нужна эта штуковина,

пусть и целиком отлитая из золота, — привычка и обыкновенное суеверие, три года носил не снимая, а как только снял, угодил в подвалы гестапо. Амулет лежал на полке у зеркала. Едва Штернберг протянул руку — погас свет. Да чёрт с ним, с амулетом! Штернберг бросился к двери, но тут пол под ногами заходил ходуном и швырнул его обратно в ванную, а разорвавший всё вокруг грохот он не столько услышал, сколько ощутил всем телом. Падая, цеплялся за край раковины, но руки соскользнули, кинжальным дождём посыпались осколки, а потом сознание провалилось в глубокий чёрный колодец.

Очнулся от того, что рядом послышался чей-то вздох.

Нитяная струя воды звенела о дно чугунной ванны. Рыжеватые отсветы просачивались сверху, из криво заколоченного окна под потолком, текли сквозь густой сумрак, тускло мерцали на стенах. Похоже, горел дом по соседству. Штернберг сел, держась за голову, стряхнул с себя мелкие и острые обломки. Поразительно холодно. Пол на ощупь — будто не кафель, а каменная плита... Камень. Так и есть — камень. И осколки — каменное крошево.

«А... их-х-х...»

Полувздох-полустон, совсем близко. Штернберга будто окатило ледяной водой. Он не понял, как очутился на ногах, — словно бы его подняла упругая волна — только что лежал, и вот уже стоит, смотрит в ванну, и оттуда, из липкого красного сумрака, на него дико глядит человек, будто только снятый с операционного стола — нет, просто выпотрошенный — вскрытое от грудины до лобковой кости чрево напоминает разомкнутый безгубый рот...

Штернберг очнулся, на сей раз по-настоящему. Где-то капала вода. Он лежал, головой под раковиной, ногами к двери, среди осколков зеркала и обломков штукатурки. В приоткрытую дверь равнодушно смотрел тусклый день. Веяло гарью, известковой пылью и холодом.

Выход из номера наискосок перегородила рухнувшая балка. Нагнувшись, Штернберг высунулся в коридор, и тут с опозданием пришла мысль: не вспомни он об амулете, лежал бы сейчас, придавленный этой балкой. Помедлив, вернулся в ванную комнату, вытащил амулет из обломков зеркала в запылённой раковине. Отряхнул, взглянув на

изображение солнца, и надел — как бы там ни было, но дурацкая штукovina спасла ему жизнь. Заодно прихватил с собой аптечку.

Он не представлял, куда идти из полуразрушенной гостиницы. Однако серый «Мерседес» уже ждал его — причём создавалось впечатление, будто автомобиль опустился на брусчатку прямоком с неба, ещё наполненного тяжёлой и жирной шумовой взвесью — гулом удаляющихся бомбардировщиков.

Купер сидел за рулём и читал книгу. Штернберг невольно прислушался к мыслям шофёра — тот настолько зачитался, что не обратил на офицера ровно никакого внимания, но у Штернберга даже не достало сил как следует разозлиться по этому поводу. Купер, здоровенный детина с туповатым лицом, увлечённо читал Макиавелли¹. Видимо, с прицелом на будущее, в которое он, в отличие от Штернберга, ещё вполне верил и наверняка видел себя там большим чином.

— Никак русский учим? — подцепил его Штернберг. — Пораженец! Отставить!

Купер демонстративно-неспешно отложил книгу — так, чтобы было видно заглавие на обложке.

— Через час вы должны быть на Пюклерштрассе-шестнадцать, — сухо сказал он.

— Поехали. А потом убирайтесь в свою часть. Ваши услуги мне не требуются.

— Я освобождён от всех обязанностей в части, оберштурмбаннфюрер, — сообщил Купер, и Штернбергу резануло слух собственное звание. — Теперь моя обязанность — быть вашим шофёром. Что вы от меня избавиться запросто сумеете, это я знаю. Про ваш отдел много чего рассказывают. Только без меня вы машину угробите в два счёта. А от слезки всё равно не оторвётесь.

— Ладно, чёрт с вами, — устало согласился Штернберг. В конце концов, вопрос с шофёром можно будет решить позже, не до того сейчас, а из поля зрения гестапо лучше пока не пропадать.

¹ Никколо Макиавелли — итальянский мыслитель, автор трудов о власти, государстве и политике.

Он сел на заднее сиденье, посмотрел на горы битого кирпича, перегородившие улицу, обернулся: позади тоже громоздились обломки рухнувшего дома. Ну и что теперь?

Автомобиль тронулся с места, круто развернулся и нырнул в неприметную подворотню. Набирая скорость, мимо побежала лента низких подслеповатых окошек, впереди показался просвет арки настолько узкой, что Штернберг рефлексивно ударил ногой по воображаемой педали тормоза, но водитель, напротив, прибавил газу, тёмная щербатая кладка мелькнула совсем близко, Штернберг ожидал услышать скрежет помятых крыльев, — но автомобиль, будто стальной жук, чудом избежавший хлопка огромных ладоней, уже вылетел в ущелье переулка. Чуть погодя сбавил скорость, аккуратно вписался в немыслимый поворот и без единой царапины выехал на широкую улицу. По пути в гостиницу Штернберга слишком занимали разговор с гестаповцем и вид изуродованного города, чтобы обращать внимание на что-то ещё, но теперь он убедился — навязанный ему шофёр не только отменно знал все закоулки Берлина, но и управлял автомобилем так, что механизм, казалось, превращался в разумное существо, хитрое, ловкое и проворное. Даже Штернбергу, далеко не новичку, было чем восхититься. Некстати вставшие поперёк улиц пожарные машины, завалы на мостовой, между которыми змеилась плотная очередь в продуктовый магазин — едва ли дрогнувшая даже под бомбёжкой, — серый «мерседес» в два счёта объезжал все ловушки, в которых застревали прочие автомобили, под гудение и ругань выбиравшиеся из заторов. Шофёр Штернбергу достался далеко не худший. Один из лучших, и, хотя это было неприятно признавать, даже лучше прежнего.

«Какую цену *они* назначат мне за близких? — думал Штернберг, пока автомобиль нёс его через полгорода в район Берлин-Далем; не в первый раз ловил себя на том, что противопоставляет себя всему тому, частью чего привык себя ощущать. — И так ли важна цена? Ведь любую цену готов заплатить. Любую, не лукавь. Хотя... за победу ты тоже готов был заплатить любую цену, и ведь не сумел... не сумел...»

Однако теперь Штернберг точно знал, что сумеет. Эхо ужаса наступало его, когда сознание против воли принималось изощряться в предположениях. Вот, например, поставят его перед выбором: жизнь Даны — или племянницы — или обеих — против жизней сотни заключённых концлагеря; ясно же как день, что он сломается сразу и лично будет стрелять в затылок тем, из-за кого недавно отказал своей родине в шансе на победу. Вот так. И зачем тогда всё?..

БЕРЛИН

9 декабря 1945 года, после полудня

Среди вилл Берлин-Далема, отгородившихся от праздных взглядов кронами деревьев и нередко — высокими заборами, была одна, принадлежавшая «Аненербе», точнее, отделу тайных наук. В чёрной проволоке одревеневших побегов дикого винограда, вилла прикрывалась с флангов елями и туями, превращёнными утренним снегопадом в мохнатые белые башни, и в их густой тени окна смутно светились янтарным электрическим светом. Штернберг поднялся на крыльцо особняка с тягостным чувством, мысленно спрашивая себя, что за кино видел, когда потерял сознание в гостиничной ванной комнате. Что за видение его посетило, к чему оно относилось — к прошлому, к будущему? Он не помнил лица человека из кошмара.

На лестнице пахло жареным луком и свежей выпечкой — пробирало до тошноты вперемешку с первобытным голодом. Штернберг вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера, да и что это была за еда... Он остановился. Не о еде надо думать. Закрыв глаза — но запах еды отвлекал, плотной завесой обволакивал более тонкие чувства.

И всё-таки Штернберг понял, кто ожидает его в угловой комнате на втором этаже, — он *услышал*. Услышал весь небольшой дом — в нём было мало людей. Услышал и размышления генерала Каммлера. Тот смотрел в окно и готовился к сложному разговору. Рядом была вооружённая охрана.

Услышал Штернберг и содержание предстоящего разговора — лишь слабое эхо, однако ему сразу захотелось развернуться и уйти. Но, разумеется, он не мог.

— Хайль. — И никаких «Гитлер». С этим приветствием генерал обернулся к открывшейся двери: — Рад видеть вас в добром здравии, доктор Штернберг.

Каммлер был сухощавым, довольно высоким человеком лет сорока. Характерный пригвождающий взгляд чиновника высокого ранга. Странный блеск в глазах — сродни голубоватому округлому блеску дорогой оптики для сложных приборов. Зализанные русые волосы, хорошо сработанный костистый лоб, крупный и тоже костистый нос, напоминающий деталь какого-то инструмента, полная нижняя губа. Удивительная своей сухостью мимика.

Они были едва знакомы. Их владения почти не пересекались: доктор инженерных наук Ханс Каммлер руководил строительством специальных объектов и производством ракет, а доктор философии и тайных наук Штернберг занимался вещами, в существование которых Каммлер просто-напросто не верил — пренебрежительно и напоказ. Тем не менее это обстоятельство не мешало Каммлеру некоторое время сотрудничать с Мельдерсом, предшественником Штернберга на посту главы отдела тайных наук, и интересоваться опытами с Зеркалами.

— Грушпенфюрер, разрешите обойтись без предисловий. Самый лучший совет, который я могу вам дать, таков: не приезжайте туда и не заставляйте меня туда возвращаться. Ничего не выйдет.

Каммлера его слова нисколько не удивили.

— Предлагаю обойтись без званий, доктор Штернберг. Хорошо, что вы уже в курсе дела. Меньше придётся объяснять. Только не спешите с выводами. Кстати, не желаете ли присоединиться?

В дальнем углу стоял накрытый стол. Светловолосый парень в новеньком мундире принялся снимать крышки с блюд — отбивные с овощами, картофельный суп с сосисками, пирог.

За окном выглянувшее солнце перебирало радужные искры на заснеженных словых ветвях — и вдалеке были

сирены. Штернберг представил, как берлинцы толпами спускаются в бомбоубежища, в подвалы, на станции метро. Там сейчас не протолкнуться, там нечем дышать. Люди там обрадовались бы лишнему куску хлеба — не то что отбивным или пирогу.

— А вы не боитесь, доктор Каммлер, что англичане сбросят вам бомбу прямо в супницу?

— Они обходят стороной этот район, не беспокойтесь.

У Штернберга были совсем иные поводы для беспокойства, однако он знал, что пригород Далем бомбят, и собственными глазами видел развалины. Но Каммлер действительно не боялся бомбёжки. Штернберг затруднился бы сказать, какие страхи вообще знакомы генералу. Глаза Каммлера, с острыми, неестественно яркими бликами — словно навечно застывшими крохотными отражениями прожекторов испытательного полигона, — следили за Штернбергом оценивающе и беспристрастно.

Под этим взглядом, от которого отчётливо ощущался кровоток в жилах, а также под нагло-любопытствующими взглядами охраны Штернберг принялся за еду. Он ел и думал о Дане — как однажды в школе «Цет» накормил её офицерским ужином...

«Ты держался столько времени. Разве ты не сумеешь ещё немного поиграть в эсэсовца?»

Штернберг исподлобья уставился на Каммлера и изобразил блудливую ухмылку, которую так хорошо знали в отделе тайных наук, да и за его пределами тоже, — растянутый длинный рот, влажный оскал, ломаный взгляд — хищная и в то же время паясническая гримаса, обескураживающая и неприятная. Пусть группенфюрер вспомнит, кого именно вытащил из тюрьмы и любезно накормил обедом.

— Позвольте, я расскажу вам о ваших проблемах, доктор Каммлер. Недавно вы получили доступ к некоему закрытому проекту. Почти все, кто имел к нему отношение, либо погибли, либо были казнены. Вас это вполне устраивало. Вам казалось, вы знаете о проекте достаточно, чтобы возродить его и использовать в своих целях. Вы сумели убедить начальство, приступили к работе, всё шло по плану... но вдруг что-то пошло не так, до ужаса не

так. — Штернберг наклонился вперёд, пристально глядя на генерала. — Тогда вам стало страшно, доктор Каммлер. Вы с трудом выбрали финансирование, от вас ждут результатов — а вы даже не понимаете, что происходит. И вот вы бросаетесь на поиски уцелевших участников проекта... Кстати, чья это была идея — сохранить мне жизнь, — ваша или рейхсфюрера? Не отвечайте, я уже понял. Его я поблагодарю, — гримаса Штернберга всё менее напоминала улыбку, — при встрече...

— Доктор Штернберг, учитывая все нынешние обстоятельства — я понимаю, вам сейчас, по большому счёту, нет никакого дела ни до новых идей, ни до старых проектов. Но я бы хотел тем не менее, чтобы вы стали моим сотрудником, а не заложником, как вы сейчас думаете.

«Вы большие не заключённые. Вы теперь мои курсанты, а в будущем, возможно, мои сотрудники». Так Штернберг год тому назад говорил заключённой № 110877 — Данае, — а она ему, скорее всего, ни на грош не верила, думала, он врёт или насмехается. Дана была одной из немногих, чьи мысли Штернберг читать не мог, — но вот в это самое мгновение, собравшее отблески прошлого в горячий луч, он с жесточайшей ясностью осознал, что же она тогда чувствовала...

— Учитывая все нынешние обстоятельства, — сквозь зубы повторил за Каммлером Штернберг, — прежде всего я хочу увидеть мою семью.

— Увидите. Когда выполните работу.

Каммлер спокойно смотрел Штернбергу в глаза, прекрасно зная, что тот читает его вдоль и поперёк, вслушивается и вглядывается в ментальные глубины. Каммлеру нечего было скрывать. Мысли — стальные фермы, эмоции бедны и незначительны. О семье Штернберга он думал как о едином безликом предмете, пешке на обширном поле для многоходовых партий. Штернберга так и подмывало попытаться прощупать, сколько же у Каммлера заложников — четверо или *пятеро*, — но для того требовалось как-то навести чиновника на нужные мысли, Штернберг же опасался тем самым навести его и на лишние подозрения. Быть может, Каммлер вообще ничего не знает о Данае — и дай Бог, чтобы это было именно так.

— Обязательное условие, — твёрдо сказал Штернберг. — Я буду лично навещать близких каждое воскресенье и звонить им тогда, когда пожелаю.

— Нет, — отрезал Каммлер. — А телефона у них нет и не будет.

— И таким вот образом вы желаете получить надёжного сотрудника?

«Если вы согласитесь работать с нами, ваших родственников освободят из концлагерей, — вспомнилось Штернбергу. *— Подумайте над этим...»* В ушах звучал собственный голос, мягкий, располагающий, — этот голос плёл и плёл сеть обещаний, в которую попадали заключённые — кандидаты на обучение. Курсантам школы «Цет» он позволял свидания с родственниками раз в неделю. По воскресеньям. А ему, чёрт возьми, не разрешают даже этой малости!

— Вы ведь прекрасно понимаете, как сильно рискуете, вытащив меня из тюрьмы, — Штернберг говорил тихо и без выражения, глядя в глаза Каммлеру. — Видимо, дела у вас и впрямь совсем плохи. О благополучии своих близких я всегда могу узнать без поездок и без звонков. Учтите — если что-то случится, по умыслу или недосмотру, что угодно, я имею в виду и бомбёжки, — я убью вас. Я буду убивать вас всех. Хоть с того света вернусь, если понадобится. Вы знаете, что это не пустые слова. Берегите мою семью так, как если бы это была ваша собственная семья.

— Я хорошо представляю себе, на что иду, связываясь с вами. Подозреваю, вы попытаетесь провести меня, и предупреждаю сразу: не вздумайте, доктор Штернберг. Я знаю ваши методы. Знаю, например, как вы скомпрометировали собственного начальника, чтобы занять его место, а потом организовали убийство...

— Мельдерс был опасным психопатом, — мрачно произнёс Штернберг.

— Да вы, никак, оправдываетесь? Забавно. Ваши методы — это методы начинающего, доктор Штернберг. С Мельдерсом вам просто повезло. Не рассчитывайте на подобное везение в дальнейшем...

Каммлер выдвинул из-под стола портфель и достал кожаную папку. Копия личного дела, тут же понял Штернберг. Его личного дела.

— Альрих фон Штернберг, доктор философии и тайных наук, — с налётом иронии принялся зачитывать генерал, — с июля 1944-го руководитель отдела тайных наук в научном обществе «Наследие предков». Целеустремлён и амбициозен, но неоднократно замечен в нарушении субординации. Имеет награды... С начала сорок третьего работает над проектом «Зонненштайн». Получил предварительное одобрение фюрера на применение своих так называемых Зеркал Времени для обороны Германии. Проигнорировал опасность воздействия Зеркал на людей, находящихся в тылу, — на гражданское население и государственное руководство. Продолжал действовать вопреки распоряжению фюрера. Приказал открыть огонь по специальному отряду, посланному предотвратить запрещённую операцию. На допросах оправдывал свои действия самообороной и настаивал, что в конечном счёте одумался и повиновался приказу... Вы понимаете, что одно ваше неверное движение — и я прикажу вас расстрелять, доктор Штернберг? Вас не признали предателем лишь потому, что следствие по вашему делу ещё не окончено.

Штернберг промолчал.

— Ладно, будем считать, что мы обменялись угрозами и заключили договор, — резюмировал Каммлер. — Просмотрите, пожалуйста, вот эти бумаги. Мне нужно ваше мнение.

Генерал достал из портфеля другую папку, тощую, канцелярскую, без надписей. Положил на середину стола.

Донёсся гул первых бомбовых ударов. Где-то к северу, далеко, загрохотали зенитки. От разрывов бомб у многих вещей в комнате начался припадок: первой переливчато запаниковала люстра, затряслась посуда на столе, но больше всего донимала лежавшая на краю блюдца тонкая серебряная ложка — она жалобно позвякивала, и Штернберг внезапно обнаружил, что они с Каммлером оба смотрят на неё как загнипнотизированные.

Каммлер переложил ложку на край стола.

— Неужели вам нисколько не интересно, доктор Штернберг? Вам, такому азартному исследователю?

Штернберг взял папку. Какие-то письма, донесения, выдержки из свидетельских показаний... Безучастно скользивший по строкам взгляд споткнулся. Между страницами до-

кументов, словно засушенные листья, лежал страх, — но отнюдь не это было главным. Штернберг моргнул, поправил очки и принялся читать с самого начала и внимательно.

— Санкта Мария... что за камера, под каким блоком?

Ещё до того как переступить порог этой комнаты, Штернберг отчётливо ощутил, во что его собираются втянуть. Однако он не думал — не смел думать, — что всё зашло так далеко.

— Камеру обнаружили под постаментом посреди площади. Вообще-то я надеялся, вы объясните назначение камеры, доктор Штернберг. Да вы читайте дальше...

Штернберг бросил папку прямо в пустую тарелку.

— Я не понимаю главного, доктор Каммлер. Зачем я вам понадобился? Зачем, раз уж вы считаете, что вашей компетенции достаточно для подобных решений? Я имею в виду переоборудование Зонненштайна! Вы хоть осознаёте, чёрт возьми, что делаете?!

Штернберг умолк, опустив голову. Видение, явившееся во время бомбёжки... Так вот что это было. Но разве теперь не всё ли равно? Разрушена Германия, разрушен и Зонненштайн. И пропади всё пропадом.

Зонненштайн, «Камень Солнца». Название этого места пришло из древних легенд о жрецах, предлагавших свою жизнь неведомому, чтобы либо погибнуть, либо изменить мир. Для Штернберга Зонненштайн значил много больше, чем загадка гигантских камней у исполинского утёса, больше, чем памятник доисторической архитектуры, больше, чем объект исследования, давшего начало ряду научных идей, даже больше, чем храм, каковым, в сущности, Зонненштайн всегда и являлся. Там Штернберг встретился с самим собой, лицом к лицу, и эта встреча едва не стоила ему жизни. Каменные Зеркала Зонненштайна требуют от пришедшего безграничной веры в свои силы, в свою правоту. У Штернберга же её не осталось ни капли, когда он пришёл просить о будущем Германии, — как бы он ни уверял себя в обратном. Какая вера может быть у человека, видевшего концлагерь? У него нет веры и сейчас. Сейчас — тем более: какая вера может быть у ходячего трупа?

Хотя нет... Вера у него всё же есть — в то, что он нужен нескольким людям, нужен так, как бывают нужны даже

преступники и живые мертвецы. Но к Зонненштайну это не имеет ни малейшего отношения.

— Я жду вашего заключения, доктор Штернберг, — напомнил Каммлер.

Штернберг пролистнул ещё пару страниц.

«На территории объекта люди испытывают животное чувство страха. Нередки галлюцинации. Случаи нападения волков на людей не подтверждены. Причина гибели строителей — самоубийства. Находясь в состоянии внушения, источник которого не установлен, люди сами (!) руками вырывали себе горло...»

«Наиболее загадочным представляется явление, которое мы условно назвали «разрежение материи»: в результате неизвестных физических процессов человеческое тело буквально «вплавляется» в камень. Возможно, исчезновения людей следует связать с этим явлением. Сколько-нибудь удовлетворительного объяснения мы пока не нашли. Фотографии прилагаются...»

Он заглянул в конец подборки документов. Там лежали фотографии. Они подействовали на Штернберга как сильный анестетик — стёрлись чувства, осталось голое одичалое восприятие, покорно проглотившее такую картинку: человеческая рука, торчащая из камня. Целая серия снимков — вид сверху, вид сбоку, часы «Зенит» на запястье, обручальное кольцо...

Дальше Штернберг смотреть не стал.

Поднялся, взял тарелку с лежащей на ней папкой и со стуком поставил прямо перед генералом.

— На редкость неаппетитное блюдо. А теперь объясните мне, доктор Каммлер, чего вы от меня хотите. Вы уже разрушили всё, что можно было разрушить. Моё заключение? Это, — Штернберг ткнул указательным пальцем в папку, — агония. Всё! На кой дьявол теперь мои консультации?

Стоявшие по углам солдаты, как по команде, сделали шаг вперёд. Каммлер же спокойно смотрел снизу вверх. Штернберг видел себя его глазами: угрюмый измождённый тип, вылитый маньяк-убийца.

— Это очень сложная система отражателей, и я хочу разобраться, где мы допустили просчёт. Хочу знать, как свести к минимуму все эти... эффекты.

— Зонненштайн — не просто система каменных Зеркал, доктор Каммлер. — Штернберг в замешательстве осознал, что не способен сейчас толком выразить всё то, о чём передумал в тюрьме, покуда его не начали пичкать всякой отравой. — Понимаете, это своего рода сознание. Существо, про которое нельзя сказать, что оно живёт, но оно *существует*. Сказки про духов тут ни при чём. Да, сейчас вы спросите, какой новой разновидностью наркотиков меня накачали в гестапо, но всё же попытайтесь отнестись к моим словам серьёзно! Зонненштайн — это... чистый разум, понимаете? Нечеловеческий разум. Не спрашивайте, как он соотносится с несомненной рукотворностью Зонненштайна, я понятия не имею. Быть может, он и создал Зонненштайн — для себя, для людей, не знаю. Иногда он пытается говорить с человеком через него же самого, потому что иначе просто не может говорить... Он дал вам понять, чтобы вы убирались к чёрту... А вы — как бы вы себя почувствовали, если бы я вспорол вам живот, вытащил, допустим, печень и при том заявил, что хочу таким образом вас усовершенствовать?

— Моя задача — построить систему отражателей для нового оружия. Зонненштайн подходит идеально, его просто надо довести до ума. И вы мне в этом поможете. Каким именно образом — разговаривая с душами камней или как-то ещё — меня не волнует, дело ваше. Знаете, мне тоже не доставляет радости руководить перестройкой памятника с тысячелетней историей, но у меня нет времени возводить второй Зонненштайн. — Каммлер развёл руками, словно недоумевая, чем ему приходится заниматься.

— Новое оружие... Я знаю, вы продолжаете разработки Мёльдерса. Колоколообразное устройство, которое генерирует особый вид излучений. Это ведь его вы собираетесь поместить среди отражателей? Идея, достойная психопата Мёльдерса, надо сказать.

— Нет. Идея, достойная вас, — улыбнулся Каммлер. — Мне известно, что Мёльдерс выкрал ваши черновики с набросками вращающихся отражателей и доработал проект.

Ледяное рукопожатие, поцелуй из могилы, загробная месть... Да полно, существовал ли вообще этот Мёльдерс,

подлец и садист, идеальный, точно подобранный по мерке враг, на котором так сподручно было оттачивать искусство ненависти, ныне знакомое Штернбергу в совершенстве? На миг Штернберг даже усомнился в правдивости своих воспоминаний, хотя лично отдавал приказ застрелить мерзавца, лично осматривал тело, — ведь куда бы он ни шёл, — словно в зеркальном лабиринте, приходил лишь к самому себе. Ему некуда было от себя деваться.

Он подумал, что вина не только физически ощутима, но и материальна, анатомически определима — подвешивается прямо под грудиной на раскалённом железном крюке, тянет вниз неподъёмным грузом.

— Так что вы скажете, доктор Штернберг?

В тарелке Каммлера лежал серебряный нож, лезвие ярко и жирно блестело. Штернберг сосредоточился на этом блеске, пытаясь поймать некую слабую мысль, а затем поглядел на генерала. Человек с архивом всевозможных проектов в голове, с единственной страстью, прямой и безыскусной, как двуглавая балка, — оголтелым карьеризмом, человек без особых привязанностей, почти без чувств.

— Признаться, когда-то я завидовал вашему безупречному рациональному подходу ко всему, доктор Каммлер.

На лесть генерал откликнулся незамедлительно:

— А меня восхищала ваша вера в будущее. И не только меня. К тому же многие восторгались вашей способностью увлечь других самыми безумными идеями.

Простой обмен любезностями, порожные слова. Каммлер не верил никому, а к Штернбергу относился как к взрывоопасному устройству, на которое у него не было инструкции, и потому приходилось действовать наугад, на свой страх и риск. Каммлер ни за что не рискнул бы остаться с ним наедине. Не рискнул бы даже уменьшить количество охранников при следующей встрече. «Есть только один способ выбраться из всего этого, — подумалось Штернбергу. — Сойтись с ним как можно ближе».

Штернберг снова взглянул на нож.

— Ну так что вы скажете, доктор Штернберг? — повторил генерал.

— Я согласен.

ИЗ ЧЁРНОЙ ТЕТРАДИ

Эти записки я съжг. Во всяком случае, так я думал. Однако судьба изобретательна и не в меру иронична — прежде чем вновь оказаться у меня в руках, проклятая стопка исписанной бумаги свидетельствовала против меня, став занимательным чтением для следователей из гестапо. Уже потому её следовало бы уничтожить.

Но я не собираюсь этого делать. Тетрадь сохранил мой ординарец: в последний миг вытащил её из камина. Подумал, видно, что я решил съжечь записки в порыве минутного отчаяния, — и оказался прав. У меня был замечательный ординарец. Он заслонил меня от пуль... Гестаповские ищейки нашли тетрадь в кармане его кителя. Их глумливый интерес — этим вымазан каждый лист. А потом она попала к Мюллеру. Я кладу на тетрадь левую ладонь и вновь переживаю вместе с ним ликование при виде удачной находки. Дневничкишко подследственного — что может быть лучше, какое мясо может быть нежнее для господ из гестапо!

Края листов обуглены. Я загибаю манжеты, чтобы не испачкаться, когда пишу. Изувеченная тетрадь пропитана гарью, будто концлагерь. Пусть моя прихоть отдаёт безумием, но я буду писать дальше в этом дневнике и на сей раз буду абсолютно честен перед собой — и перед тобой, моя надежда, если ты когда-нибудь захочешь это прочесть. Как ты встретишь меня, когда я тебя найду?

Ещё несколько дней тому назад я должен был съездить к своему шефу Гиммлеру. Сама заурядность и предсказуемость — ему редко когда удавалось по-настоящему меня удивить, по правде говоря, я вообще не припоминаю таких случаев, но вот то, что он пожелал видеть меня после всего случившегося, воистину удивительно — я-то думал, опалы не миновать. Но я застрял в Вайшенфельде, где меня держат под охраной в собственной квартире. Утром 11-го я заставил себя отказаться от укола — презираю морфинистов, — а после полудня меня снова стали донимать сильные боли в боку. К вечеру свалился с температурой. Провалился несколько дней, да и сейчас пишу в постели. Здеиный медик прежде всего схватился за иголку с морфином и только потом сообразил отправить меня на рент-

ген. Трещин в рёбрах нет, есть воспаление лёгких, а причина тому — холод в тюремной камере. Я знаю, что медик получил приказ: усугубить моё постыдное и день ото дня крепнущее пристрастие к треклятому зелью.

Несколько раз я пытался заставить себя избавиться от шраммовской «аптечки», но всё закончилось тем, что я испытал отвратительное облегчение, когда медик изрядно пополнил запасы ампул в ней.

Лучшее, что этот врач для меня сделал, — растолковал явившимся за мной молодцам во главе с моим чёртовым шофёром, насколько чреватые сейчас для меня осложнениями любые поездки — вплоть до угрозы жизни. Если бы не медик — меня бы, вероятно, затолкали в автомобиль силком и в горячке повезли на запланированный приём к начальству.

Знаешь, в каждом из нас сидит изворотливый адвокат, который будет оправдывать каждый наш шаг, пока мы живы. Мой очень любит поболтать, его даже моя попытка самоубийства не вразумила. Да, я сызмальства, насмотревшись на высокомерное нищенство родителей, решил, что лучше служить кому и чему угодно, чем плыть по жизни в утлой лодчонке без руля и ветрил, какие бы достойные названия та лодчонка ни носила. Да, я хотел силы и власти, а что представляло её тогда, пять лет назад, полнее, чем нацизм? Да, я видел в преданности общему делу прекрасную замену нравственности, унаследовав от предков ощущение своей родины и своего народа как сверхценности, оправдывающей всё. Да, я считал концлагеря чем-то вроде вульгарного побочного эффекта — пока их не увидел, — но даже когда увидел, пытался убедить себя, что там собраны слабаки и неудачники, одним словом, ничтожества, заслужившие свою участь, я ведь тоже когда-то мог оказаться за колючей проволокой — однако вместо того был принят в СС. Прости... Понадобились месяцы выматывающих ночных кошмаров, понадобился Зоннеништайн, чтобы я мог просить у тебя прощения за всё это.

Меня крайне беспокоит, что обо мне смог узнать Генрих Мюллер. Со своей стороны я успел узнать о нём предостаточно, чтобы помнить: он в любое мгновение

может нанести удар, несмотря на то что я вышел на весьма относительную, но всё же — свободу.

Я надеялся, мне никогда не придётся иметь с ним дело, однако так вышло, что именно шеф гестапо на протяжении целого месяца был фактически единственным моим собеседником. Он ни разу не перепоручил меня другим следователям и всегда проводил допросы единолично. В этом собственническом отношении мне чудилось что-то ненормальное. В остальном Мюллер совершенно нормален. Я бы сказал, даже патологически нормален для человека его профессии.

Мне приходилось видеть Мюллера раньше. Мюллер — типичный баварец: невысокий, темноволосый и кареглазый. Гиммлер недолюбливает его по многим причинам, в том числе из-за того, что у Мюллера «неарийская» внешность. Их неприязнь взаимна. Мюллер, разумеется, выполняет приказы Гиммлера с неизменной ретивостью, но иногда позволяет себе спорить с ним и втайне его презирает. Последнее я легко прочёл, хотя Мюллер при мне старался не думать лишнего, он вообще очень осторожен и предусмотрителен.

Он отнюдь не садист. Он циник и мизантроп — обыкновенные качества, в той или иной степени присущие многим в СС. Иногда участвует в «ужесточённых допросах», но не испытывает к ним какого-то особого пристрастия. Это его работа. Он педантичный служака и свою работу делает хорошо.

Мюллер с самого начала прекрасно знал, что у меня не только нет пристрастия к табаку — я вовсе не переношу табачный дым, — и на допросах постоянно курил сигары. То, что меня мучило в прокуренном кабинете, было ему только на руку.

Первый допрос выглядел так: Мюллер зашёл в кабинет быстрым шагом и уже с порога начал на меня орать. Это был просто профессиональный приём. Затем он вдруг умолк, придвинул стул и сел напротив, почти вплотную. Это тоже был приём. Взгляд его то упирался в меня, то принимался скользить вправо-влево, словно Мюллер высматривал что-то за моей спиной. Так он пытался запугивать. Думаю, на многих этот дикий мечущийся взгляд



производил жуткое впечатление. Мне было проще: я слышал его мысли, а в них пока не было ничего особенного, кроме остро профессионального интереса к моей персоне — к тому, как сломить человека вроде меня. Такие лично Мюллеру в его практике ещё не попадались. Людьями со сверхъестественными способностями обычно занимается Зельман и его специальный отдел гестапо. С Зельманом у меня всегда были прекрасные отношения — да что там, последние несколько лет он был мне как отец, возможно, поэтому я до последнего не верил, что задержусь на Принц-Альбрехтштрассе. Как Зельман воспринял всё произошедшее? До сих пор не знаю, и это мучительно. Пытался ли помочь мне? Наверняка. Но Мюллер о нём в моём присутствии никогда не говорил и не думал.

«Вы очень интересный случай, господин фон Штернберг, — сказал Мюллер. — В нашем архиве мало таких объёмных папок, как ваше личное дело. Но у вас всегда находились защитники. Раньше. Теперь нет. Какой идот будет защищать предателя?»

И началось. Он добивался от меня признания в том, что я будто бы возглавил антигосударственный заговор, целью которого якобы являлось «покушение на жизнь фюрера посредством оккультного устройства, называемого «Зоннеништайн» (какой идиотичнейший бред). Моим главным оправданием было то, что операцию «Зоннеништайн» я в конечном счёте отменил. Мюллера страшно раздражало, что на угрозы я отвечал угрозами и, кроме того, нередко озвучивал его мысли быстрее, чем он успевал их высказать. Тогда, вопреки здравому смыслу, я ещё верил, что меня быстро освободят.

Через день меня поволокли на порку. После пожара в пыточной (в «помещении для допросов третьей степени», если следовать эсэсовской страсти к эвфемизмам) Мюллер приказал колоть мне наркотики и ещё какую-то отраву, чтобы рассеять моё внимание и заодно развязать язык. Первое ему удалось вполне — я не мог сосредоточиться, собрать волю для энергетического удара и, по сути, был разоружён. До сих пор не знаю, насколько удалось второе. Я почти не помню, о чём говорил с ним. Помню лишь, что допросы шли один за другим — раза три-четыре в день, —

и Мюллер вёл их с огромным воодушевлением. В моём лице он видел вызов своему профессионализму.

Помню лишь отдельные отрывки. Однажды он при мне накачался коньяком и тогда выдал нечто проникновенное:

«Такие, как вы, пригодились бы в гестапо. Я много лет работаю над тем, чтобы занести в картотеку сведения о каждом немце. Сделать всех граждан «прозрачными» — моя давняя мечта. А для вас это реальность...»

Тем же вечером он измыслил специальную пытку. Раньше меня периодически затирали в камере с приговорёнными к смертной казни — продемонстрировать мне, телепату, какая участь меня ожидает, — чтобы отбить желание оттифаться. Я выдержал это испытание, и тогда Мюллер приказал запереть меня в камере с дюжиной буйнопомешанных, которых привезли из ближайшего сумасшедшего дома. От такого соседства я сам едва не рехнулся. Это походило на стихийное бедствие, их разбитые и изломанные мысли секли меня, будто ливень из осколков стекла, сливались в рябящую круговерть. В конце концов меня вырвало, потом я потерял сознание. Мюллер был доволен тем, что нашёл способ как следует надавить на меня. Однако я всё равно не признался, и если б не приказ об освобождении, трюк с помешанными наверняка повторили бы.

Мюллер преследует неотступно и беспощадно всех тех, кого считает врагами государства. Он не раз повторял, что видит во мне предателя, которого «непреренно выведет на чистую воду». Я более чем уверен: несмотря на моё освобождение, своего намерения он не оставил.

ДАНА. КОЕ-ЧТО О СТАРЫХ И НОВЫХ ФОТОГРАФИЯХ

ВАЛЬДЕНБУРГ, ШВЕЙЦАРИЯ

осень 1944 года

«Выгонят. Точно выгонят. Может, даже полицию позовут».

Пока Берна тащила её по длинному коридору, как воспитательница — провинившуюся школьницу, Дана

отчаянно выкручивала узкое запястье из сильных толстых пальцев горничной, будто и впрямь в чём-то провинилась.

«Надо было вправду стянуть, и дело с концом. Вот тогда точно никто ничего бы не заметил. А теперь...»

— Не вертись, ишь, задёргалась. Стой здесь, — Берна толкнула её в кабинет на первом этаже — комнату, в которую обычно редко кто навещался. — Попытаешься улизнуть — хуже будет. Хозяин хочет с тобой поговорить.

Угроза вызвать полицию и то прозвучала бы для Даны не столь устрашающе. Поначалу она всех здесь боялась, в том числе большую, громогласную Берну, которая с первого дня принялась командовать и однажды хлестнула Дану сложенной простынёй по лицу за то, что она перепутала наволочки, — тогда Дана, неожиданно для самой себя, замахнулась в ответ, попала наволочкой Берне по глазам, и та как-то сразу оставила её в покое, даже не побежала жаловаться, как можно было бы ожидать. С того момента Дана впервые в этом доме почувствовала себя так, словно выпрямилась во весь свой невеликий рост, почти перестала робеть — перед всеми, кроме хозяина, которого, по счастью, видела нечасто. Берна же затаила зло и теперь рада была отыграться. «Она что-то искала в ваших вещах, сударыня. Думаю, золотые украшения. Думаю, она воровка, сударыня». Хозяйка лишь молча смерила Дану ледяным взглядом — и, скорее всего, так же молча выставила бы за порог. Но прежде решила известить мужа.

Хозяин мог целыми днями не показываться из своей спальни, обширное пространство которой было намертво задушено нагромождениями мебели и слоями непроницаемых портьер, а когда всё же появлялся — с длинным, мучнистой белизны, костлявым лицом, всегда укутанный в чёрное, давно сидящий по пояс в могиле, — то производил впечатление отдалённого предка семейства, выкатившего из фамильного склепа на экскурсию и вообще слабо отдававшего себе отчёт в том, какой, собственно, век на дворе. Эта величественная развалина, с холодными огнями в глубоких глазницах и изуродованными артритом огромными руками, порой на фоне солнечного окна столовой вдруг являла стремительно очерченный, совершенный, ещё отнюдь

не старческий профиль, — вызывая тем самым странное щемящее чувство, сходное с тем, когда среди заросших руин старинного замка вдруг находишь осколок карниза с тончайшим орнаментом, бог знает почему пощажённый временем. Голос хозяина Дана слышать не доводилось, она вообще подозревала, что болезнь отняла у этой мумии дар речи. Во время редких встреч Дана опускала взгляд и старалась поскорее ускользнуть куда-нибудь.

О чём с ней будет говорить этот полумертвец? Тут воображение наткнулось на колючую проволоку. Пока Дана раздумывала, не попытаться ли сбежать — всё равно ведь с позором вышвырнут, — мимо дверного проёма бесшумными скачками пронеслось долговязое дитя в белом, с кружевными воланами, платье на несуразном, худом, почти мальчишеском теле. Внучка хозяина. Девочка прискакала обратно, присела в шутовском реверансе и с преогромным удовольствием скорчила Данае рожицу, до самого подбородка высунув ярко-розовый язык и сведя к переносице глаза. Вылитый призрак чужого прошлого, на очередной попытке заглянуть в которое Дану сегодня и поймали.

— Вот останешься косою, — хмуро сказала Дана, сунув руки в карманы накрахмаленного передника.

— Вас теперь выгонят, — сообщило дитя.

— Ну и прекрасно!

Дитя звали Эмма-Амалия, сокращённо — Эммочка. Она была первым из обитателей дома, кого увидела Дана, когда пришла сюда месяц тому назад: на стриженной лужайке нарядно одетая девочка подбрасывала в умытое утренним дождём небо большой мяч в синих звёздах и громко считала, и хлопала в ладоши — идиллическая картина. Восковой ангел с ясными голубыми глазами, трогательно-нескладный, большеротый, длинноногий и длиннорукий, с бледными волосами, в которые вплетали иссиня-белые шёлковые ленты — Дана знала, что эти богатые, густые волосы позже наберут спелый золотой блеск. Она сразу поняла, куда попала, когда увидела девочку, — хотя, в общем, и раньше догадывалась. Обрадовавшись и одновременно испугавшись, думала просто немного посмотреть через ограду палисадника на чужую ладную жизнь и тихонько уйти, — но дитя (наружность томного ангелка, как водит-

ся, оказалась обёрткой для далеко не ангельской сущности) уже отбросило мяч в клумбу с георгинами и серьёзно уставилось на Дану:

— Что вам угодно?

Не будь этого вопроса, Дана точно не решилась бы. Розенштрассе, семь. Здесь помогают бывшим узникам концлагерей — так ей было сказано...

— Что вам угодно? — сердито повторила девочка. — Зачем вы смотрите? Уходите отсюда.

Теперь Дана не могла уйти: получилось бы, что её прогнал ребёнок, — а разве она не обладала правом попытаться счастья по этому адресу, который ей передал, как заветный ключ, единственный человек, которому она безоглядно верила? Разумеется, она ни на что особо не надеялась. Она лишь подумала, что, возможно, здесь ей подскажут, куда обратиться, чтобы получить какую-нибудь работу без долгого обивания порогов. Последнее ей было мучительно трудно: она боялась людей. Боялась по-прежнему. Когда её высадили из машины в приграничном городе, всё вокруг показалось ей возмутительно ненастоящим, так и хотелось скорее разоблачить бездарное представление, чудилось, что прохожие смотрят на неё с плохо скрываемой насмешкой и каждый второй готов схватить за локоть и потащить в полицейский участок.

Месяц Дана скиталась по гостиницам. Нескончаемый месяц, когда она просыпалась от каждого шороха, вскакивала до рассвета и машинально бросалась заправлять постель — и только потом вспоминала, что находится не в эсэсовской экспериментальной школе и тем более не в концлагере, и тогда падала обратно на кровать, чтобы в спёртом псевдоюте гостиничного номера проспаться до полудня. Месяц тяжёлых, тревожных ночей и прозрачных, в тени дышавших прохладой августовских дней, когда она опасливо постигала свою — всё-таки всамделишную — свободу: вот, можно пойти направо, а можно — налево, можно сесть на скамейку у вокзала и просидеть хоть полдня, и никто не прогонит, можно дожидаться поезда и уехать в другой город. Дана догадывалась, что не живёт — существует, плывёт неведомо куда крохотным обломком, выброшенным из эпицентра колоссального бедствия. Она путалась

в словах, когда в магазинах к ней обращались энергичные приказчики, цепенела под внимательным взглядом портье, а каким подвигом было купить билет на поезд... Три года концлагеря, а прежде — десять лет в чужой семье, на птичьих правах, в роли служанки. Последние полгода Дана провела в эсэсовском тюремно-учебном заведении, где курсантов натаскивали по странным наукам. И всё это не имело ни малейшего отношения к мирной повседневности городов и деревень, плывших обратно ходу поезда, и даже оскверняло ту *нормальную* жизнь, о которой Дана всегда мечтала — и о которой в свои почти двадцать два года имела очень смутное представление.

Дана отлично знала, как надо бежать, когда сзади стреляют, — петляя, по-заячьи, то припадая, то вновь припуская изо всех сил; до сих пор при ходьбе неотрывно смотрела в землю, словно бы в нескончаемых лагерных поисках чего-нибудь съестного или того, что можно украсть и обменять на еду; знала, как прикидываться мёртвой; знала, как с помощью дорожной грязи неузнаваемо изуродовать себе лицо, чтобы не забрали в лагерный бордель для привилегированных заключённых вроде капо; знала, как вести себя на селекциях, чтобы приняли за здоровую, даже если больна; знала, как спрятаться в большой могиле среди тел, чтобы не обнаружили и чтобы не погребли под трупами... С недавних пор знала, как извести проклятем, как делать энвольтацию, как настроить себя на психометрию, как искать пропавшие вещи с помощью сидерического маятника. Её знания предназначались для мира с иными законами — и теперь отчего-то заставляли чувствовать себя виноватой, хотя она даже не понимала толком, за что и перед кем. Перед всеми вокруг: например, перед улыбчивым парнем из цветочной лавки, который подарил ей тюльпан — «У вас такой грустный вид, фройляйн», — не подозревая, скажем, о том, как сильно она желала скорейшей смерти своей похожей на скелет соседке по нарам, чтобы забрать её замызганную, но тёплую кофту. И вот Дана в очередной раз бессмысленно смотрела на карту, не представляя, куда отправиться дальше — в Винтертур, в Цюрих? Да не всё ли равно. Отсутствующий её взгляд летел сквозь пейзажи, разворачивавшиеся за окном поезда как бесконечный зе-

лёно-голубой сон, что охраняли лесистые горы. Иногда задрёмывала по лагерной привычке спать урывками, как только выпадает несколько минут относительной безопасности, — и её сны были светлыми лишь в том случае, если там появлялся человек, подаривший ей свободу. Тогда она вцеплялась в его жёсткие суконные рукава, рассказывала ему, что совсем не знает, что с этой свободой делать, и просыпалась в слезах.

О работе она задумалась, когда заметила, что выданная ей пачка швейцарских франков неумолимо тает. Воровать себе не позволяла, хотя часто тянуло, особенно если случалось забрести на рынок — с выложенными прямо под ноги покупателям фруктами в плетёных корзинах — или в кондитерскую, где пирожные на подносах лежали так пригласительно-близко.

В начале сентября, аккурат в день своего двадцатидвухлетия, Дана наконец решила приехать в Вальденбург. Не из-за смутной надежды на помощь, а из-за вырвавшихся когда-то вслед за сокровенным адресом слов: *«Это место, куда я всегда возвращаюсь»*. Слов её тюремщика, или учителя, или просто человека, спасшего ей жизнь.

Память милостиво сгладила тот момент, когда перед ней открылась дверь особняка. «Я... я насчёт работы...» — кажется, пролепетала Дана, не сразу осознав, что перед ней всего лишь служанка. Потом вышла высокая, очень прямая женщина с инистыми прядями в высоко забранных пепельных волосах, и спустя неопределённое время Дана обнаружила, что стоит уже в прихожей и довольно бойко отвечает на вопросы строгой дамы. «Кем вы работали прежде?» — хозяйка выгнула левую бровь, будто не считая уместным называть то, что оставило шесть вытатуированных цифр у запястья Даны. «Горничной, — ответила Дана и почти не соврала. — Но у меня совсем нет рекомендаций». — «Что ж, в вашей ситуации это естественно...» Хозяйка немного помолчала, а Дана тем временем глядела на её руки: правая держит локоть левой, левая подпирает подбородок. Знакомый жест раздумчивости, и ещё вздёрнутая длинная бровь, и оценивающий взгляд с лёгким прищуром заставляли Дану прямо-таки стекленеть, она опустила глаза, чтобы не таращиться. «Будете

работать в этом доме. Бернхарда уезжает только через месяц, у неё будет предостаточно времени, чтобы передать вам все дела. А я пока на вас посмотрю. Надеюсь, вы подтвердите то впечатление порядочной девушки, которое производите. Ради вашего же будущего, лучше вам меня не разочаровывать». Дана представила себе ледяной гнев этой женщины и совсем оробела, но отступить было поздно, к тому же её одолевало сумасшедшее любопытство: подсмотреть будни семейства Штернбергов... Семья, из которой вышел такой человек, как её учитель (надзиратель, спаситель?), должна быть совершенно особенной.

Однако «подсмотреть» не очень-то получалось. Непроницаемая аристократическая сдержанность хозяев, будто бархатная портьера, скрывала их внутрисемейную жизнь даже от служанок, хотя порой до Даны и доносились отголоски — беспокойные, невесёлые. Звоняще-металлический оттенок тихого и неразборчивого разговора хозяйки с дочерью, очень красивой, хотя какой-то засушенной, молодой женщиной, яркой католичкой; очередной визит врача, торопливо скрывавшегося в сумрачных недрах дальних комнат, откуда иногда выкатывал свои мощи хозяин. Девятилетняя Эммочка была, пожалуй, самым явным свидетельством чего-то, что Дана не могла назвать, но ясно ощущала. Эммочку едва ли не через день наказывали за шалости — запирали на чердаке или в кладовой, — а в шалостях, нередко довольно жестоких, она перещеголяла бы любого мальчишку. Вертялая, вездущая — в декоративных, с шёлковыми завязками, кармашках платья Эммочка таскала жужелиц и дождевых червей, которых находила в саду под камнями (притом её нисколько не смущало, что жужелицы кусались и отвратительно пахли), а потом сажала на колени гувернантке, стоило той отвернуться, или исподтишка спускала за шиворот кому-нибудь из соседских детей, которых изредка приводили в гости. При Дане Эммочка ни разу не плакала, зато часто смеялась — резко, как-то избыточно громко. Наверное, этого ребёнка очень непросто было любить. Наверное, всех в этой семье было непросто любить.

...В кармане передника Дана обнаружила обрывок бумаги — ещё утром ничего подобного там не было. Доста-

ла, посмотрела: на клочке, выдеранном, похоже, из альбома для рисования, детской рукой был выведен знак: длинная вертикальная линия, перечёркнутая крест-накрест.

Дана показала находку невинно улыбавшейся Эммочке:

— Ты рисовала? Знаешь хоть, что это означает?

Девчонка цыкнула дыркой от выпавшего зуба:

— Знаю.

— Вот как. А это, случайно, не твой ли дядя, — Дана невольно понизила голос, — не он ли тебе рассказал?

— Да, дядя. — Эммочка почему-то сразу надулась. — Ну и что? Сейчас скажете, как моя мама: «Нашёл, что ребёнку рассказывать».

Дана запнулась на полуслове — именно это она и хотела произнести.

— А он мне всё рассказывает, — продолжала Эммочка. — Потому что я уже не ребёнок!

— Может, он тебя и мысли научил читать?

— Такое только он умеет. А откуда вы про него знаете?

Прежде Дана не осмеливалась намекать, что знает главную тайну этого семейства. Здесь не держали фотографий — ни на стенах, ни на комодах, ни на каминных полках не было ни детских фотокарточек, ни общих снимков, — зато в разных комнатах висело несколько потемневших, точно подкопчённых временем, картин, сохранившихся с тех времён, когда облик человека могла запечатлеть лишь кисть портретиста: старик с массивной цепью поверх расшитого камзола; господин в тяжёлом с виду седом парике и в дремучем сюртуке о множестве пуговиц; двое щёголей без париков, с живописными вихрами цвета старого золота, во фраках с широкими отворотами и в шейных платках, намотанных так, будто щёголи были больны ангиной; отрешённые дамы — одна молодая, с тонкими голыми плечами поверх нежного кружева, и другая, что называется, без возраста, до подбородка затянутая в чёрное платье. Все они — Штернберги из разных эпох, бесстрастно наблюдавшие за своими потомками, — в чертах лиц имели настолько много общего, что портреты их, развешанные вдоль коридора друг напротив друга, напоминали бы зеркальную галерею. Глубокий, неотрывный взгляд прошлого — вот что такое знатная родословная, думалось Данае. Взыскательный

взгляд, обязывающий к чему-то. Возможно, он служил одной из причин, по которым хозяева спрятали подальше семейные фотографии и, чем могли, помогали беглецам из рейха — за время, пока Дана здесь работала, к ним обращались трижды, если не считать её самой, — хотя замкнутый характер Штернбергов явно не располагал к решению чужих проблем. Охочая до сплетен Берна, заметив татуировку на руке Даны, проговорила сразу: «Ты думаешь, хозяева за здорово живёшь тебя на службу взяли? Как бы не так. Обычно они таким, как ты, вообще даром денег дают. Грехи замаливают. Не свои — сына своего. У них сын в рейхе живёт, нацист. Очень важная шишка. Хозяевам людей стыдно, ведь на его нацистские деньги живут. Они хоть и молчат, да все в округе знают. Ну, зря стыдятся, скажу я тебе, всем на самом деле плевать... Только ты это, не говори никому». Дана промолчала и хранила молчание целый месяц, потому что скоро поняла: её взяли в дом не столько даже из милости, как считала Берна, сколько из расчёта — идеальной горничной для хозяев была одинокая и неприкаянная молчунья вроде неё. Дана боялась, её сразу выгонят со службы, если она проболтается о том, что знает человека, которого словно бы абортировали из этой семьи. Но теперь было всё равно.

— Откуда вы знаете? — требовательно повторила Эмочка.

«А девчонка, похоже, любит дядюшку, — решила Дана. — И ей за это влетает».

— Знаю и знаю. Какая разница откуда. Это ведь плохой знак, зачем ты мне его подсунула? Вряд ли твоему дяде понравилось бы то, что ты сделала.

Эмочка смерила её характерным препарирующим взглядом, который тут, видать, передавался по наследству вместе с долговязостью и белёсостью.

— Вы мне не нравитесь. Вы всегда на всех так смотрите! Как... как в зоопарке! Почему вы так смотрите? Я хочу, чтобы вас выгнали. — На бледных щеках девчонки нарисовался треугольный румянец, какой Дана не раз доводилось видеть прежде — но у молодого мужчины. «Надо же, и сердятся они одинаково», — с отвлечённым удивлением подумала она.

— И за этим ты подсунула мне руну?

— Это руна несчастья. Чтобы вас уволили. А сначала чтобы вы на лестнице навернулись! Откуда вы знаете моего дядю? Отвечайте!

— Что ещё за «навернулись»? — загудел со стороны лестницы бас гувернантки. — Эмма, ради бога, кто тебя научил таким словам?

— Вас выгонят, и никто больше на работу вас не возьмёт, и так вам и надо! — выдав это пророчество, весьма смахивавшее на правду, Эммочка понеслась по своим делам, проигнорировав дежурный гувернантский вздох: «Это же страх господень, а не ребёнок».

Оставшись одна, Дана неприязненно уставилась на своё отражение в стёклах книжного шкафа. Всегда и везде лишняя. Пугливая, как бездомная собака. Никому не доверять, всех бояться — этому она научилась с детства, а концлагерь закрепил усвоенную ранее нехитрую науку на уровне инстинкта. Но разве такой она родилась? Она смутно помнила родителей — вечно чем-то озабоченных и куда-то спешивших, пахнувших одеколоном и духами, всегда смотревших поверх неё, друг на друга; помнила, что у неё когда-то, на заре жизни, была детская — большая и светлая, ничуть не хуже, чем у этой Эммочки. Строгое платье, крахмальным форменный передник — у Даны было неясное чувство, будто и в такой одежде она не выглядит горничной, кажется скорее приехавшей на маскарад гостьей, наряженной горничной. И Берна тоже это чувствовала — наверное, потому ещё так злилась. У Даны была матово-белая, когда-то, в дни заключения, тусклая, а теперь словно бы таившая легчайшее свечение кожа и тонкие черты лица с неким неопределённым, восточным, быть может, акцентом: выступающие скулы, кошачий разрез глаз — удивительных глаз, сумрачно-зелёных, вытянутых к вискам, по-детски больших, но всегда чуть прищторенных крупными верхними веками, к тому же с райками, посаженными выше обыкновенного, из-за чего её по обыкновению хмурый взгляд напоминал взгляд гипнотизёра. С детской узостью торса и незаметной грудью непостижимым образом вполне гармонировали очень женственные очертания хорошо развитых бёдер.

Ко всему этому небольшой рост, худоба от многолетнего недоедания, часто нахмуренные брови — тёмно-русые, намекающие на настоящий цвет непослушных выющихся волос, выбеленных перекисью перед отъездом из рейха. Дана знала, что производит впечатление существа слабого, незащитного, но притом непростого, себе на уме, и что многих такое сочетание раздражает. Простушку хотя бы можно пожалеть. Дана жалости не вызывала.

Она понимала, что снисхождения к ней не будет.

В коридоре едва слышно заскрипел паркет, но не под шагами. Это был жуткий, плавно перебирающий доску за доской скрип под колёсами инвалидной коляски.

Дана уставилась в пол. Не смотреть. Не слушать. Мало ли что хозяин скажет — не бить же будет, в самом деле. Наверное, будет допытываться, что она украла. Но у неё ничего нет. Когда он это поймёт, просто рассчитает её, и всё.

«А ведь тут, кстати, его кабинет». Впервые за весь месяц Дане пришла в голову такая мысль, хотя она регулярно вытирала пыль в этой комнате, где все вещи всегда оставались на своих местах, и подолгу заворожённо разглядывала два огромнейших старинных меча, висевших на стене над столом — тёмных, иззубренных, очень простых, украшенных лишь крестами на навершиях, с клинками невероятной длины, даже больше, чем её невеликий девичий рост. Мечи крестоносцев.

Тишина. Скрипнул пол возле самой двери; в этом доме не было порогов.

— Подойдите. Посмотрите сюда.

Так вот каков его голос. До дрожи знакомый баритон — когда-то, несомненно, звучный, а теперь приглушённый, словно бы записанный на пластинку, но сохранивший оттенок глубокой небесной синевы, которая всегда мерещилась Дане в этом — нет, не в этом, но очень похожем голосе.

Усилием воли Дана подняла голову и встретила тяжёлый взгляд барона фон Штернберга.

— Подойдите сюда, фройляйн. — На укрытых чёрно-багровым пледом неподвижных коленях барона лежал распахнутый альбом с фотографиями. Улика. Именно в таком виде Дана бросила альбом обратно в нижний ящик комода,

когда её застукали. Она не знала, где лежат ключи от комода, — но умела открывать небольшие и несложные замки, уроки психокинеза в школе «Цет» всё-таки не прошли впустую. Пригодились и навыки поиска предметов с помощью маятника, так она нашла место, где альбом был похоронен.

— Я хочу знать, почему вас интересуют эти фотографии. — Узловатый палец ткнул в снимок, как раз в тот самый, который Дана сначала нацелилась своровать, выколупать из-под твёрдых картонных уголков, однако сдержалась, решила просто посмотреть — но именно потому и попалась.

— Если вы не ответите мне, то будете отвечать в полицейском участке.

— На снимках ваш сын, — глухо сказала Дана.

— Мой сын давно мёртв, — стальным тоном произнёс барон. — Что вам понадобилось в чужом семейном архиве?

— Вот эти фотографии. — Отпираться было бессмысленно. — Фотографии вашего сына.

— Отныне в любом приличном доме вас даже на порог не пустят, фройляйн. Вы этого хотели добиться? Вы добились. Это же до какой степени бесстыдства надо дойти! Я, знаете ли, не удивлюсь, если сейчас выяснится, что вас нарочно подослали. Кто, зачем?

Дану слегка знобило. Какой смысл врать?

— Меня никто не подсылал, сударь. Я... я просто... хотела взять себе карточку, где ваш сын. Он вывез меня из лагеря, потом из рейха. Дал ваш адрес, сказал, вы поможете. Он... дело в том, что он мой друг... больше, чем друг. Мне эти фотографии дороже, чем вам. И не говорите, что он мёртв, пожалуйста, не говорите так.

На длинном лице барона, напоминавшем алебастровую маску, не отразилось ровно никаких эмоций, лишь глаза чуть сощурились — прозрачные, иглисто сияющие в солнечном свете: радужки — будто куски синеватого льда.

— Рассказывайте подробно. Кто вы такая? Вас, кажется, зовут Фелицитас?

— Это не настоящее имя. Аль... то есть ваш сын... достал мне швейцарский паспорт.

— Почему вы оказались в концлагере? Вы шпионка?

— Нет, сударь.

V. STERNBERG.



— Коммунистка? Или еврейка?

— Нет.

— У вас довольно странный выговор, никак не могу определить... Вы фольксдойч?

— Нет.

— Да что же это такое, из вас каждое слово клещами надо вытягивать! Кто вы, в самом деле?

— Не знаю, сударь, — полушёпотом сказала Дана. — Наверное, никто.

— Никто! — раздражённо повторил барон. — Вот оно и видно, что никто! Зачем вы понадобились тому, кто когда-то назывался моим сыном? С какой целью он подослал вас сюда?

— Чтобы я была в безопасности. Так он сказал.

— Вы его любовница?

Дана не отвела взгляда и даже заставила себя изобразить некое подобие улыбки.

— Нет, сударь. Пока ещё нет.

И вот тут барон опустил глаза — правда, всего на долю мгновения.

— Он был знаком с вами до вашего заключения?

— Нет.

— Тогда почему он освободил вас из лагеря?

— Это долгая история.

— У меня много времени, рассказывайте.

Дана молчала. Очень долго молчала. В углу кабинета стучали часы. Ноги уже немели, будто на апельшылаце во время переключки.

— Когда ваш сын допрашивал меня, тогда, в первый раз, ещё в лагере... он хотя бы разрешил мне сесть.

— Вы в своём уме, фройляйн? — ровно осведомился барон. — Вы хоть осознаёте, что себе позволяете?

— Я расскажу всё, но только тогда, когда вы и впрямь захотите услышать.

Барон посмотрел на фотографию, нахмурился, хлопнул альбом и бросил его на письменный стол, прежде всегда пустовавший.

— Возвращайтесь-ка к своим обязанностям. Расскажите тогда, когда действительно захотите рассказать.

Альбом остался лежать на столе.

Будни потекли по-прежнему — но кое-что переменялось. Вокруг Даны словно образовалась невидимая преграда, которую никто не смел переступать. Берна вышла замуж и уехала в другой город. Она прямо-таки извелась от вопроса, почему хозяева Дану не выгнали, но ответа так и не получила, на прощание же сказала: «А всё-таки не продержишься ты долго, вот помяни моё слово. Тут никто надолго не задерживается». Эммочка не особенно докучала, словно выжидая что-то. Правда, однажды девчонка спрятала альбом с фотографиями, который Дана, впрочем, легко нашла (в рассохшемся сундуке на чердаке) с помощью того предмета, что использовала в качестве маятника, — подвески из чёрного хрустала на серебряной цепочке. Любопытная Эммочка манипуляции с маятником, разумеется, видела, но хранила загадочное молчание: насупившись, понаблюдала за Даной и тихо исчезла. Нередко Дана чувствовала на себе пристальный взгляд баронессы, наверняка всё знавшей от мужа, а сам барон, как и прежде, Дану не замечал, будто ничего и не произошло. Их дочь Эвелин, мать Эммочки, ни о чём, по-видимому, пока не подозревала.

Своей маленькой победой Дана считала полное игнорирование хозяевами того обстоятельства, что семейный альбом теперь лежит в кабинете, — и Дана, не особенно таясь, иногда его листала, когда приходила делать уборку.

Сначала в альбоме её интересовала одна-единственная карточка. Мальчиком, юношей (для мужчины этот архив был закрыт) Альрих фон Штернберг избегал прицеливающегося взгляда фотографа настолько упорно, насколько это может делать лишь человек с физическим изъяном. Детские опущенные белёсые ресницы за стёклами неуклюжих очков, позже — кадыкастый юношеский профиль. Лишь на одной фотографии — студенческой — он смотрел прямо на неё, потому что позволяла глубокая тень на пол-лица. Интерес Даны был очень далёк от сентиментального: тяжёлый страх служил изнанкой всей её теперешней сытой и относительно свободной жизни — будто взятой на время, напрокат, — а знакомая насмешливая полуулыбка на карточке была единственным, что слу-

жило противоположностью страху и одиночеству. Можно было её вспоминать, но лучше было видеть.

Перед сном Дана иногда рассматривала в зеркале едва заметные шрамы на груди, посередине, ниже ключиц, где едва зарождалась тень неглубокой нежной долины. Зеркало было встроено в узкую дверцу старого шкафа, ютившегося в углу комнаты, которую Дана сначала делила с Берной, а теперь обживала как полноправная хозяйка (в соседней комнате жила неразговорчивая экономка, кухарка и садовник жили во флигеле, гувернантка и — на время обострения болезни хозяина — сиделка были приходящими). Когда-то шрамы составляли точную копию того угловатого знака, что недавно ей подсунула Эммочка, — вертикаль, перечёркнутая крест-накрест. Теперь шрамы поджили, часть линий совсем истончилась и исчезла, и знак на коже стал напоминать след птичьей лапки на снегу (три «пальца» вверх, один вниз). Руна «Хагалаз», знак разрушения и гибели, превратилась в руну «Альгиз», символ защиты и жизни. *«Основные черты человеческого характера, даже вехи жизненного пути — всё можно выразить лишь через одну точно подобранную руну»*. Это были его слова. Неужели у него и впрямь получилось переписать её жизненный путь? Шрамы служили ненавязчивым, но непрестанным напоминанием о том, что изначально Дана была не более чем материалом для оккультных опытов. Опытов эсэсовца Альриха фон Штернберга. Дана водила пальцем по шрамам: ей так нравилось вспоминать его раскаяние...

Она не любила людей. С никчёмного своего отрочества относилась к женщинам со смесью снисходительности и презрения, а к мужчинам — с брезгливостью и изрядной долей опаски. Всегда чувствовала себя ни к чему не причастным наблюдателем, по какому-то досадному недоразумению помещённым в слабое девичье тело. Будущее для неё было полным пугающей пустоты, поэтому она не любила думать о будущем, она просто не видела себя там, в призрачной дали, где другие видели покупку дома, или свадьбу, или бог знает что ещё. Дане и в голову не приходило, что кто-то из людей может быть ей интересен — особенно мужчина. Дана видела, как рожали — или выкидывали — в бараках женщины, избитые надзирателями... Нет,

женская доля её нисколько не привлекала. Но пробуждавшийся интерес к долговязому человеку с руками пианиста, с удивительной манерой говорить, с целой университетской библиотекой, хранившейся в памяти, и с чудесным почерком, который Дана тщетно пыталась копировать на досуге, — это было нечто за пределами обыденности, и даже ясно читаемое недвусмысленное желание в его глазах Дану не отвращало, более того, ей было лестно. Что-то он говорил, раскаиваясь, про эксперимент по корректировке сознания. Какая теперь разница... Единственное, что действительно было и осталось, — жгучий интерес: к тому, о чём он думает, чем живёт, что скажет, сделает... Как-то поздно вечером Дана разделась донага перед зеркалом и попыталась посмотреть на себя его глазами (глазами Альриха — тюремщика, учителя, экспериментатора). Она увидела маленькую зеленоглазую ведьму. Неправда, что она никто, она — ведьма. Разве ведьмы чего-то боятся?

Позже она внимательно рассмотрела и другие фотографии. Хронологический порядок, педантичная аккуратность, скрупулёзные подписи — как ей это напомнило манеру Альриха расставлять книги по алфавиту на полках своего кабинета в школе «Цет». Далеко не все надписи она могла прочесть: многие были выведены старогерманским готическим шрифтом. Из того, что сумела разобрать, её позабавили слова «герр фатер» и «фрау муттер» под фотографиями, относившимися к рубежу веков (приблизительно пятнадцать лет в ту и в другую сторону; дед Альриха оставил родовые владения на каком-то остзейском острове, чтобы стать подданным Германской империи и в конце концов осесть в Мюнхене). Четверо рослых сыновей герра и фрау — судя по тому, что последняя фотография, где молодые люди были все вместе (и все в мундирах офицеров германской имперской армии), датировалась 1914 годом, с войны вернулся только старший сын, и лишь он успел ещё до войны обзавестись собственной семьёй. Родители же гибели троих детей, очевидно, не пережили.

В альбоме обнаружилась свадебная фотография барона — в молодости он был просто до неприличия хорош собой — белокурый лейтенант и его беззастенчиво-счастливая невеста на ступенях церкви. Дана провела рукой

по фотографии, и в её сознании почему-то закружились мысли о бале (она в жизни не видела балов), о вальсирующих парах и о пепельноволосой девушке, которая долго считала недостойным себя и даже пошлым принимать ухаживания офицера, к которому немислимо было относиться всерьёз, по которому в открытую сохла половина девиц в этом просторном, вощёном, многолюдном, полным праздничного золотистого света зале.

Эрих и Эдель. Неразборчивое число, 1913 год.

Барона звали Эрих фон Штернберг, и сходство звучания имён отца и сына Дану особенно трогало.

Однажды вечером, насмотревшись фотографий, переполненная обрывками чужой жизни, словно бы теснившими её собственную — кривую и жалкую, — Дана постучалась в дверь библиотеки, где барон имел привычку коротать вечера.

— Я пришла рассказать вам свою историю, сударь, — тихо сказала она с порога, взглядываясь в чёрный силуэт под красным торшером.

Барон мгновенно развернулся и подъехал к креслу; то, с какой ловкостью он управлялся со своей коляской в те дни, когда сносно себя чувствовал, вызывало у Даны смесь восхищения и жалости.

— Проходите, Фелицитас. Садитесь.

Дана провалилась в неожиданно мягкое кресло, натянула подол на колени. Взгляд барона был неприятно пристальный, и, чтобы отвлечься, Дана принялась изучать сложный узор на ковре.

— Моё настоящее имя — Дарья Заленская, но я привыкла, что меня все зовут Дана. Я родилась в Петрограде и жила там, кажется, первые года два... три... не знаю. Мои родители были русские. Они уехали со мной из России, потом много раз переезжали. Я плохо их помню... Не знаю, что с ними случилось. Я выросла в чужой семье... семье немцев, то есть немецких евреев, в Чехословакии...

Так началась длинная череда вечеров, когда Дана приходила к барону в кабинет или в библиотеку и говорила — не всегда по порядку — о том, что всплывало в памяти: о приёмной семье, об аресте, о концлагерях, о своей ненависти, о том, как люди умирали лишь по одному её



желанию, об эсэсовской школе для сенситивов. О том, как зловещий дар покинул её, едва она впервые за много лет ощутила себя человеком, а не зверем в клетке. Об Альрихе... В первый вечер её рассказ был путанный, сбивчивый и, как ей самой казалось, утомительно скучный — но когда она умолкла, окончательно охрипнув (не привыкла много говорить), барон подъехал к столику под торшером, из графина налил в стакан воды и молча ей подал. Дана вдруг захотелось зареветь, как девчонке, но она уже поняла, что в этой семье слёз не терпят, и, заикаясь, пробормотала «спасибо», на что барон ответил с какой-то антикварной, давно вышедшей из употребления интонацией:

— Нет, это вам спасибо за ваше мужество, фройляйн, я необычайно, необычайно вам признателен.

И тогда Дана решила рассказать ему абсолютно всё.

Иногда посреди монолога краем глаза она замечала, что в дверях появлялась баронесса, чтобы молча послушать и в какой-то момент незаметно уйти. Едва ли фрау фон Штернберг следила за мужем и за тем, какие у него могут быть дела и разговоры с горничной, — потому что порой у Даны складывалось впечатление, что у этих двоих за годы совместной жизни выработалось нечто вроде телепатической связи друг с другом. Во всяком случае, знала баронесса не меньше, чем её муж (скорее всего, он ей всё пересказывал): в её манере обращаться к Данае появилось нечто новое, как будто теперь Дана хотя далеко и не ровня ей, но уже *не совсем служанка*.

Сначала барон вовсе не перебивал Дану, затем, изредка, стал задавать вопросы — уточняющие, наводящие, а однажды спросил:

— Ваши родители были дворянами? Они ведь поэтому эмигрировали из советской России?

Дана смешалась. Взглянула на свои руки — крупные костяшки, туповатое выражение пальцев, ногти хоть и маленькие, но лопатой. Ничего общего с аристократическими руками Альриха, один вид которых её завораживал, настолько явно в них просматривалась гениальность кого-то или чего-то, спроектировавшего человеческое тело.

— Н-не знаю... Не думаю. Дворяне... Нет, что вы, скорее всего, нет. Это... важно?

— Да нет, не очень. В сущности, совершенно не важно.

Чему учили курсантов в школе «Цет» — подобных тем Дана сначала старалась не касаться, опасаясь, что ей просто не поверят. Но без этих пояснений многое из рассказанного теряло всякий смысл, и как-то раз Дана принесла в кабинет барона чемодан, с которым приехала в Вальденбург и который теперь хранила под кроватью, открывая изредка и лишь тогда, когда была уверена, что её никто не видит.

— Инструкторы в школе называли их кристаллами, — пояснила она барону, опускаясь на колени перед распахнутым чемоданом и обеими руками беря что-то, завернутое в чёрную бархатную тряпицу. — Хотя обычно у курсантов такие шары были из простого стекла, к тому же они гораздо меньше... А этот, из горного хрусталя, подарил мне ваш сын. Это такой инструмент. Чтобы *видеть*. Я им редко пользуюсь, он отнимает силы, а у меня много работы... — Дана раскрыла тряпицу, обнажая гладкую поверхность сферы, полной сероватого сияния замкнутой в самой себе пустоты.

Барон вскинул бледные ладони (и этот всплывающий, протестующий жест был Дана необыкновенно знаком):

— Извините, фройляйн, но мне не по нраву различные столоверчения и прочее вздорное фиглярство из дешёвого балагана. Это всё ухватки жулья, которое хуже карманников. Впрочем, я несколько не удивляюсь тому, что на подобную ерунду падок сброд из этих самых СС...

— Вы мне не верите. — Дана поднялась. — Вернее, не хотите верить. Хорошо, я докажу. Вы увидите, что я умею. Чему меня научили. Вот, — она заозиралась вокруг, провела левой рукой по столешнице. — Вот, этот стол вам достался вместе с домом, а прежний хозяин дома был дантистом, он уехал... сейчас скажу... в Америку, потому что получил там наследство. А вот эти часы на столе, — она задержала руку на небольших, старинного вида, часах с барочными завитушками на корпусе, — вы привезли из Германии. У них стекло с трещиной, потому что их бросила на пол ваша жена, когда вы с ней поссорились. Из-за денег. А на следующий день она родила вашего сына, ровно в полдень. Вы были при рождении обоих ваших детей, потому что у вас в семье так издавна принято... Вечером

вы пообещали жене никогда больше не говорить о деньгах. И не стали менять стекло часов, чтобы трещина всегда напоминала вам об обещании...

— Довольно! — воскликнул барон, и в его голосе прозвучало нечто сродни испугу. Дана отняла руку от часов.

— Что ещё вы успели выведать за время своего пребывания здесь? Что?! Отвечайте немедленно!

— Больше ничего, сударь. — Теперь настал черёд Даны испугаться. — Я обычно этим не пользуюсь. Меня научил ваш сын. Он говорил, это никакое не колдовство, просто есть неизвестные науке законы... У каждой вещи есть энергетическая память. Её можно читать. Это называется «психометрия». Злоупотреблять опасно, особенно из простого любопытства. Ваш сын предупреждал: те, кто злоупотребляет, могут сойти с ума. Я хотела только показать, чтобы вы поверили... Простите меня, сударь. Простите...

Через несколько дней Дана осмелилась задать вопрос, не дававший ей покоя едва ли не с первого дня, проведённого в доме Штернбергов:

— Вы, наверное, снова рассердитесь, если я скажу... Почему Альри... то есть ваш сын, не помог вам... выздороветь? Я видела, как он лечил людей. Он бы помог, я точно знаю. Или вы ему не позволили?

— Вы несносная проныра, фройляйн. — Барон смотрел на огонь; с некоторых пор камин в кабинете, прежде всегда холодный, разжигали каждый вечер. — Пользуетесь тем, что откровенны со мной. Так и быть, откровенность за откровенность: я давно разочаровался в том, кого вы называете моим сыном. С первых лет его жизни. Ещё когда мы с женой только заметили это... оно проявилось не сразу... то, что доктора именовали эзотропией, гетерохромией и бог знает как ещё, ни у кого в нашем роду не было ничего подобного. Я уже тогда понял, из него не выйдет толка. Вы думаете, я не пытался помочь ему? У скольких докторов он ни перебивал ребёнком, всё зря, а доктора были от него в ужасе — от того, что он им наговаривал. В сущности, от ребёнка-то у него была только наружность — ни детской чистоты, ни детского неведения. Он никогда не задавал вопросов. Всегда всё знал, даже то, что ему знать не полагалось. В нём всегда было что-то дья-

вольское. Не иначе, дьявол украл моего сына и поставил на подмешьше свою метку. Тот, кого вы постоянно выгораживаете, лишь из-за злой насмешки судьбы носит моё имя. Я не желаю иметь с ним ничего общего.

— Вы верите в дьявола? — осторожно спросила Дана.

— Дьявол в каждом из нас. В том, кого вы называете моим сыном, его слишком много.

— Неправда. Неправда! Ваш сын не виноват, что родился с таким пороком... и с таким даром. Да вы же его совсем не знаете!

Барон резко обернулся к ней:

— Никогда не говорите, будто я чего-то не знаю, если желаете остаться в этом доме! В следующий раз окажетесь за порогом! Идите к себе, на сегодня достаточно. И поумерьте наконец вашу дерзость!

На следующий день барон был сильно не в духе, выбранил Дану за то, что она долго не могла разжечь огонь в камине («Вы преуспели в роли адвоката, но напрочь забыли о своих обязанностях!»), потом угрюмо молчал и вдруг спросил:

— Что вы можете увидеть в своём кристалле, фройляйн?

— В общем... всё, сударь. Ну, почти всё. Прошрое, будущее... Ваш сын...

— О нём ни слова больше! Я запрещаю вам говорить об этом человеке. Лучше скажите вот что: будущее — вы же его видели, верно? Что там?

Дана по-прежнему сидела на коленях перед медленно разгоравшимся очагом, на барона она не смотрела, но мертвенная интонация вопроса заставила её поёжиться, и страх, который она всегда носила в себе, выплеснулся, как ледяная колодезная вода из переполненного ведра.

— Я не хочу опять вас рассердить, сударь. Но там... война.

— Где? Неужели здесь, в Швейцарии?

— Этого я не знаю.

— А дальше? Что дальше вы видите, Дана?

Впервые он назвал её настоящим именем.

Дана отвернулась от огня, перед глазами расплывались зеленоватые пятна — словно патина, подёрнувшая полутьму комнаты.

— А дальше я боюсь заглядывать.

По понедельникам Дана ездила из Вальденбурга в Райгольдсвиль, покупать лекарства для барона. Это дело ей стали поручать недавно.

Было раннее утро начала ноября. Дана сидела на переднем пассажирском сиденье автобуса, сразу за водителем, и смотрела в окно. Из тумана являлись, обретая очертания, стволы и ветви стылых замороженных деревьев, чтобы через мгновение кануть обратно в сизое марево. Мотор натужно выл, пока автобус поднимался в гору, и туман понемногу начинал светлеть, словно бы таять в собственном молочном сиянии. Скоро остатки его растворялись в прозрачном воздухе, будто капли молока в ключевой воде, и сквозистые буковые кроны сияли под солнечным светом, пронизавшим небесную высоту, от которой захватывало дух. На повороте между обтрёпанными елями, ветви которых висели, как мокрые кошачьи хвосты, показывалась долина, из которой они только что выехали, — на её месте безмолвствовал снежно-белый океан. Автобус спускался с вершины, и лес выдыхал навстречу призрачную дымку, которая вскоре набирала свинцовую глухоту, поглощала небо и землю, чтобы у подножия холма вновь превратиться в плотный кокон тумана.

И Дана вдруг почувствовала, что улыбается. Не из-за чего-то, просто так. Это было бы очень похоже на счастье — если бы не страх, который засел в солнечном сплетении, как невидимый стальной прут, выходя из спины где-то между лопатками. В преддверии ночи, лёжа на узкой кровати, закрывая глаза, Дана часто представляла, что не одна в комнате, что тот, кого она ждёт, он сидит в ногах и молчит, можно сесть и дотронуться рукой... Страх отступал немного — ровно на то время, которого хватало, чтобы заснуть. И приходили сны. Всё реже Дане снились бесконечные переключки на апельплаце или тот обморочно-голодный ужас, когда по каким-либо причинам отменяли раздачу еды, — и всё чаще во снах она говорила с Альрихом, спорила с ним, пыталась в чём-то убедить. Просыпаясь, она мало что помнила. «Да сними ты, наконец, свою проклятую униформу! — кажется, кричала она

ему. — С чего ты взял, что ты и твой мундир — одно и то же?!» Были и другие сны с его участием — чаще приуроченные к концу её личного лунного цикла — с ощущением тёплых ладоней и прерывистого горячего дыхания на коже, волшебные сны, после которых всё сладко обмирало внутри, сны, отблеск которых согревал её потом целый день. Никогда прежде Дана не видела таких снов.

В последнее время Дане нравилось высматривать в чертах барона черты его сына. Ни седина, что, будто меловая пыль, отчасти скрыла полированное золото волос, ни изуродованные болезнью руки её больше не пугали. Дана давно завершила свою историю, и об Альрихе они больше не говорили. Теперь барон иногда просил её читать ему вслух — просьба странная, учитывая, что зрение у него было превосходное. Дана не любила книг, этих бесполезных и громоздких предметов, не любила продирааться сквозь нагромождения слов, поначалу ей казалось, что она ничего не понимает в цепляющихся одно за другое, как шестерёнки в часовом механизме, предложениях, но в их внутреннем звучании она с изумлением узнавала интонацию цветистых рассказов Альриха. А потом настал день, когда распахнулся смысл — и это походило на то, как ей впервые удалось *увидеть* картины иного места и времени в недрах кристалла. На некий род ясновидения, доступный каждому человеку.

Ещё барон придумал себе такое развлечение: он взялся учить Дану обращаться с огнестрельным оружием. На её вопрос «Зачем?» ответил:

— Конечно, оружие не защитит вас так, как тот смертоносный дар, которого вы, благодарение Богу, лишились... если вообще обладали им когда-то, трудно, знаете ли, поверить. Однако, случись что, оружие даст вам небольшой шанс. Сказать по правде, совершенно смехотворный. Но иногда он решает всё, уж поверьте мне.

И достал из ящика стола «люгер» образца тысяча девятьсот восьмого года.

— У вашего сына я видела такой же, — не удержалась Дана. — Или очень похожий.

— «Парабеллум», — сказал барон. — Патроны — запомните — девять миллиметров, тоже «парабеллум». Латынь учили? Нет? Позор. «Готовься к войне». Перезаряжать

и стрелять, большего от вас требовать неразумно, но уж это — будьте любезны.

И началось то, что отдалённо напоминало Дана муштру в первые концлагерные дни. Она бесконечно разряжала и заряжала пистолет (больше всего мучений доставляло взведение затвора — потные пальцы скользили по мелкой насечке, было неудобно и не хватало сил), подолгу стояла в углу кабинета, стараясь удерживать на мушке цифру «12» на напольных часах, а барон то разъезжал по комнате, то стучал по столу перстнем-печаткой, что носил на мизинце левой руки, и поучал с нарастающим раздражением, быстро переходя на брань:

— Как вы стоите, танцевать собрались? Куда вас ведёт? Тяжёлый, говорите? Да уж, конечно, не из папье-маше. Тогда берите пистолет двумя руками. Не так, а вот так! Да не сжимайте рукоятку, будто душите кого, у вас же руки трясутся от напряжения. Ну вы и рохля! Обезьяну научить легче!

Дана молчала и думала, что, кажется, понимает, почему Альрих не ладит с отцом. Барон приказал установить в глубине сада, неподалёку от заброшенного деревянного домика — быть может, чайного, — мишень и по вечерам в сопровождении Даны выбирался из сумрака комнат — никогда не позволяя ей толкать кресло (у особняка, стоявшего на пологом склоне, задняя дверь выходила прямо в сад, минуя, по счастью, необходимость в ступенях). В первый раз, когда Дана, обозлённая руганью хозяина дома, расстреляла почти всю обойму куда-то в сторону мишени, борясь с неожиданной сильной отдачей, барон закричал на неё:

— Скверно, фройляйн! Крайне скверно, хуже некуда! Но не безнадёжно.

Взял пистолет и сделал три выстрела, один за другим, выбив в самом центре мишени три равноудалённых друг от друга отверстия, будто обозначив вершины равнобедренного треугольника.

Баронесса к «учебным стрельбам» относилась странно спокойно — быть может, потому (подозревала Дана), что сама когда-то прошла через нечто подобное. Вообще, в её отношении к Данае появился легчайший намёк на теплоту, будто тонкий солнечный луч, неведомо как проникнувший в пустое и холодное запёртое помещение.

Зато дочь её, Эвелин, внезапно Дану возненавидела. Дана поначалу и не подозревала, что Эвелин осталась «фройляйн фон Штернберг», и считала её вдовой, до тех пор, покуда недолюбливавшая молодую хозяйку кухарка не насплетничала, что Эммочка — внебрачный ребёнок. В комнате Эвелин висело большое распятие, чёрное и лоснящееся. Выражение лица у Эвелин было монашеское. Про своего отца она говорила: «Он окончательно выжил из ума». С матерью изредка невнятно спорила о чём-то. Дану Эвелин игнорировала, холодно и отточенно, так, что унижало это куда больше, чем даже преисполненные самого ядовитого презрения слова. А однажды молодая женщина едва не столкнулась с Даной в дверях одной из комнат и тогда — чуть дрогнув тонкими ноздрями и глядя поверх макушки девушки (очень высокая и, подобно Альриху, изящно-длиннокостная, Эвелин была значительно выше Даны, и даже это порой казалось для той унижительным) — негромко, с брезгливой тщательностью произнесла:

— Зачем вы здесь? Думаете, он приедет за вами? Думаете, он о вас помнит? Да у него таких, как вы... Мужчины, знаете ли, быстро всё забывают. Вы либо слишком глупы — либо надумали хорошо устроиться. В этом доме нет места приживалкам. Лучше вам уйти по доброй воле.

— Я никуда не уйду, — тихо сказала Дана.

— Тогда вас отсюда выкинут, — отрезала Эвелин и хлестнула её взглядом, ожесточённым до оторопи. У Эвелин были такие же холодные, светлые, почти светящиеся голубые глаза, как у барона, — и в них сияла ненависть. Дана вспомнила своих товарок по закрытой школе «Цет», женщин-лагерниц. Те тоже так на неё смотрели — будто она отняла у них что-то. Дана подумалось, что у неё есть её горячее ожидание, которое занимается невидимой зарёй вместе с каждым новым рассветом, — а у Эвелин и того нет. Лишь воспоминания о горьком прошлом, воплотившемся в своенравной и неласковой дочери. Каково каждый день смотреть в тёмную пустоту будущего?

Эммочка порой молча наблюдала за Даной, пока та выполняла свои обязанности горничной, и всё как будто хотела сказать что-то, но, передумывая, уходила. Но пару дней тому назад наконец решилась: независимой поход-

кой вошла, повертелась по комнате, встала рядом и, не глядя на Дану, с робостью, которой никак нельзя было ожидать от этого диковатого ребёнка, сказала:

— Я видела у вас такую штуку — маятник. У дяди есть такой же. Я знаю, эта штука отвечает на любые вопросы. Вы ведь можете спросить — когда он приеде...

Тут в комнату вошла Эвелин, и девочка, не договорив, бросилась прочь.

Впрочем, Дана много раз задавала маятнику *тот самый* вопрос. И не понимала — почему маятник ей не отвечает?

...Автобус въехал в Райгольдсвилль. Дана задремала, прислонившись к оконному стеклу, а когда проснулась, дурновоние счастья, посетившее её на перевале, безвозвратно исчезло. Теперь Дана чувствовала во рту неприятный металлический привкус, и внезапно с подзабытой силой дал знать о себе страх: он разросся, придавил её к креслу, сдавил горло, мешая дышать, а потом лопнул, как нарыв, с макушки до пят окатив ледяными мурашками. Из автобуса Дана вышла на дрожащих ногах, в полубеспамятстве добралась до аптеки.

— Доброе утро, фройляйн, — словно бы издалека услышала она голос аптекаря. — Вам то же, что обычно? Слушайте, на вас ведь лица нет. С господином фон Штернбергом всё в порядке?

«С которым из двух?» — чуть не спросила Дана. Страх обрёл вполне определённую направленность: *Альрих*. Дана никак не могла отделаться от мысли о том, что с ним — именно с ним — что-то случилось. Что-то очень страшное.

Альрих подарил ей амулет с чёрным хрусталём на серебряной цепочке, который она не снимала ни днём ни ночью и использовала как сидерический маятник, и автоматическую ручку с золотым пером, которую она всегда носила в кармане, и всё это были вещи, очень, очень подходящие для того, чтобы установить между двумя разделёнными расстоянием людьми совершенно особый род Тонкой связи... Прежде она не задумывалась об этом.

Дана едва помнила, как вернулась в Вальденбург. Ей казалось, автобус ползёт выматываяще медленно, а солнце, уже рассеявшее туман, светит слишком ярко. Она бежала к дому, придерживая сумку, оскальзываясь на мо-